

# Яд и корона

**Автор:**

[Морис Дрюон](#)

Яд и корона

Морис Дрюон

Азбука PremiumПроклятые короли #3

Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге «Проклятые короли», открывшей мрачные тайны Средневековья. За каждым произведением цикла стояла кропотливая работа в Национальном архиве, изучение документов, написанных на архаичном французском или на латыни. «Яд и корона» продолжает эту серию исторических фресок, открывшуюся романами «Железный король» и «Узница Шато-Гайара».

...Прошло полгода после кончины Филиппа Красивого. При его правлении Франция была великой державой. Но сын Железного короля Людовик X – монарх слабый и неумелый, и вот уже мятежные бароны сеют смуту в провинции, чиновники разворовывают государственную казну. В стране голод.

Хотя возможно, это всего лишь сбывается проклятие Великого магистра ордена тамплиеров...

Морис Дрюон

Яд и корона

Maurice Druon

# LES POISONS DE LA COURONNE

Copyright © 1956 by Maurice Druon

© Н. М. Жаркова (наследник), перевод, 2021

© Л. Н. Ефимов, перевод примечаний, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство АЗБУКА

\* \* \*

Цикл исторических романов Морича Дрюона «Проклятые короли», открывший мрачные тайны средневековья, пользовался в СССР необыкновенным успехом: миллионные тиражи, десятки изданий, и все равно за этими книгами стояла очередь в библиотеке. Прошло время, изменилась страна, но романы этого цикла по сей день заслуженно любимы читателями.

«Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!» – бросает из пламени костра великий магистр ордена тамплиеров Жак де Моле в лицо Филиппу Красивому, королю Франции. Это огненное пророчество сбудется: с 1314 года более полувека на троне Франции короли будут сменять друг друга, но никто не задержится там надолго. Дворцовые интриги, внезапные смерти, династические революции и кровавые войны будут сопровождать это мрачное шествие проклятых королей. Невероятная эпоха, определившая будущее прекрасной Франции.

Мориса Дрюона недаром любят в России. Помните, во времена книжного дефицита, когда популярные книжки можно было приобрести за сданную макулатуру, лидером этого «натурального обмена» был именно Морис Дрюон. И

это вовсе не смешно. Для простых читателей Дрюон был одновременно и захватывающим, и интеллектуальным чтением.

Павел Басинский

Если вам нравится «Игра престолов», вы влюбитесь в серию романов Дрюона «Проклятые короли».

Джордж Р. Р. Мартин, автор «Игры престола»

Идеальное слияние исторической правды и романтического вымысла. Золотая классика жанра.

Les coups de cCur des libraries.

[www.livredepoche.com](http://www.livredepoche.com/) (<http://www.livredepoche.com/>)

Действие дрюоновского цикла охватывает почти весь XIV век. Мы попадаем в средневековую Францию, путешествуем по Европе, видим роскошные коронации, чехарду рвущихся к власти правителей, казни, интриги, жестокость тех мрачных времен, «когда собор Парижской Богоматери был еще белым», а чума за короткое время выкашивала пол-Европы...

Изысканная историческая проза с долгим послевкусием, как выдержанное французское вино.

Людивин.

Librarie FNAC (Bordeaux)

\* \* \*

История все-таки наука предположительная.

Даниэль-Ропс

Я хочу еще раз выразить горячую признательность Пьеру де Лакретелю, Жоржу Кесселю, Кристиану Гремийону, Мадлен Мариньяк, Жильберу Сиго, Жозе-Андре Лакуру за ценную помощь, которую они оказали мне во время работы над этим томом; хочу также поблагодарить работников Национальной библиотеки и Национальных архивов за необходимое содействие моим изысканиям.

М. Д.

## Пролог

Прошло полгода после кончины короля Филиппа Красивого. Поразительной деятельностью этого монарха Франция была обязана благами длительного мира, прекращением плачевных заморских авантюр, созданием мощной сети союзов с государствами и сюзеренствами. Франция в его царствование расширила свои владения и не завоеваниями, а добровольным присоединением земель распространила свое экономическое влияние, добилась относительной устойчивости монеты и невмешательства церкви в мирские дела. Филипп сумел обуздать власть денег и влияние крупных частных интересов, привлекал представителей низших сословий к решению государственных вопросов, обеспечил безопасность граждан и упрочил авторитет верховной власти.

Правда, современники не всегда отдавали себе отчет во всех этих улучшениях. Слово «прогресс» никогда не означало идеального совершенства. Выпадали годы, когда Франция не слишком процветала, бывали периоды кризиса и мятежей; нужды народа отнюдь не были удовлетворены. Железный король умел заставить себе повиноваться, но средства, которыми он этого достигал, не всякому приходились по вкусу, он же больше пекся о величии своего королевства, нежели о личном счастье своих подданных.

Тем не менее, когда Филиппа не стало, Франция была самым первым, самым мощным, самым богатым государством западного мира.

Целых тридцать лет наследники Филиппа Красивого с усердием, достойным лучшего применения, разрушали дело его рук, тридцать лет чередовались на троне непомерно раздутое честолюбие и предельное ничтожество – в итоге страна оказалась открыта для чужеземных вторжений, общество захлестнула анархия, а народ был доведен до последней степени нищеты и отчаяния.

Среди длинной череды тщеславных глупцов, которые, начиная с Людовика X Сварливого и кончая Иоанном Добрым, носили корону, будет лишь одно исключение – второй сын Филиппа Красивого, Филипп V Длинный, который возродил принципы и методы отца, хотя неистовая жажда власти превратила его в прямого пособника преступлений и, сверх того, он установил династические законы, прямо подготовившие Столетнюю войну.

Итак, дело разрушения длилось целую треть века, но надо сказать, что добрая доля этих трудов пришлась как раз на первые полгода.

Деятельность государственных органов была налажена еще недостаточно, и они оказались не способны выполнить свое назначение без личного вмешательства государя.

Безвольный, слабонервный, несведущий Людовик X, с первых же дней подавленный выпавшим на его долю бременем, охотно переложил все заботы, связанные с властью, на плечи своего дяди Карла Валуа, видимо неплохого вояки, но бездарного политика, всю свою жизнь гонявшегося за короной, неугомонного смутьяна, нашедшего наконец случай проявить себя в полной мере.

Министры из числа горожан, составлявшие главную опору предыдущего царствования, были брошены в тюрьмы, и скелет самого примечательного из них, Ангеррана де Мариньи, бывшего правителя королевства, болтался на перекладине монфоконской виселицы.

Реакция торжествовала; баронские лиги сеяли смуту в провинциях и подрывали королевский престиж. Знатные вельможи, и первый Карл Валуа, чеканили монету, которую пускали в обращение по всей Франции к вящей для себя выгоде. Чиновничество, уже не сдерживаемое твердой рукой, беззастенчиво набивало карманы, и казна окончательно опустела.

Скудный урожай, собранный осенью, за которой последовала небывало суровая зима, привел к голоду. Смертность росла.

Тем временем Людовик X занимался преимущественно восстановлением своей супружеской чести и старался изгладить из памяти людей скандальную историю Нельской башни.

За неимением папы, которого никак не мог избрать конклав и который должен был расторгнуть брак Людовика, новый король Франции, желая жениться вторично, приказал удушить свою первую супругу – Маргариту Бургундскую, узницу Шато-Гайара.

Освободившись такой ценой от супружеских уз, Людовик мог вступить в брак с прекрасной неаполитанской принцессой, которую ему подыскали в жены и вместе с которой он собирался вкушать все блага долгого царствования.

Часть первая. Франция ждет королеву

Глава I

Прощание в Неаполе

Стоя у окна в огромном новом замке, откуда открывался широкий вид на Неаполитанский залив и порт, старая королева-мать, Мария Венгерская, следила взором за кораблем, ставившим последние паруса. Убедившись, что посторонние не могут ее видеть, она быстрым движением сухоньких пальцев утерла слезы, навернувшиеся в уголках глаз, уже давно лишившихся ресниц.

– Ну, теперь можно и умереть спокойно, – пробормотала она.

Не зря прожила королева свою жизнь. Дочь короля, супруга короля, мать и бабка королей, она утвердила за одними своими потомками трон Южной Италии,

добилась для других ценою борьбы и интриг трона королевства Венгерского, которое она считала своей наследственной вотчиной. Младшие ее сыновья были кто принцем, кто владетельным герцогом. Две ее дочери стали королевами: одна – на Майорке, другая – в Арагоне. Ее плодовитость была подлинным благословением для Анжу-Сицилийской ветви, младшей ветви Капетингского древа, которая, укрепив свое могущество, постепенно раскинулась на всю Европу, угрожая перерасти породивший ее ствол.

Мария Венгерская уже похоронила шестерых своих детей, но, по крайней мере, ей осталось то утешение, что они приняли кончину христианскую, в соответствии с тем духом благочестия, в котором взрастила их мать; один из них – тот, что отказался от своих династических прав ради монашеской кельи, – в скором времени должен был быть канонизирован. Поскольку королевства мира сего становились тесноваты для этого семейства, повсюду раскинувшего свои щупальца, старуха-королева смело посягнула и на Царствие Небесное. Недаром же подарила она миру святого угодника.

Теперь, когда Марии Венгерской пошел восьмой десяток, ей оставалось решить последнюю задачу – обеспечить будущее одной из своих внучек, сиротки Клеменции. Но вот и эта задача была решена.

И потому, что Клеменция происходила от первенца Марии, Карла Мартелла, для которого королева, не щадя сил, добивалась венгерского трона, и потому, что дитя лишилось родителей двухлетней крошкой и воспитанием ее целиком ведала бабка, и потому, наконец, что это была ее последняя забота в жизни, Мария Венгерская питала к Клеменции особую нежность, если только оставалось место для нежности в этой увядшей душе, признававшей лишь силу, власть и долг.

Огромный корабль, готовившийся сейчас, в начале июня 1315 года, поднять якоря под ослепительными лучами солнца, олицетворял в глазах королевы Неаполя торжество ее политики, и, однако, к этому чувству примешивалась грусть – неизбежная спутница свершений.

Ибо для возлюбленной своей внучки Клеменции, для этой двадцатидвухлетней принцессы, имевшей в качестве приданого не земли и золото, а лишь красоту и добродетель, прославленные во всем Неаполе, бабка добилась самого высокого союза, самого лестного брака. Клеменция отбывала, дабы стать королевой Франции. И так, больше всех обойденная судьбой среди прочих анжуйских

принцесс, та, что дольше всего ждала устройства своей девичьей судьбы, получила самое прекрасное королевство и вместе с ним – суверенную власть над всей своей родней. Так наглядно подтверждалась правота евангельской притчи.

Правда, говорили, что молодой король Франции Людовик X не особенно пригож лицом, не особенно приятен нравом.

«Велика беда! Мой супруг, царствие ему небесное, был хром, а я притерпелась, – думала Мария Венгерская. – К тому же королеве вовсе не обязательно быть счастливой».

При дворе намекали, что королева Маргарита умерла как нельзя более кстати в своем узилище именно тогда, когда Людовик X за неимением папы не мог добиться расторжения своего первого брака. Но разумно ли склонять слух к злословию? Мария Венгерская отнюдь не испытывала жалости к этой женщине, тем паче к королеве, которая нарушила супружеский долг и с таких высот подала столь прискорбный пример всем прочим. Поэтому-то она не видела ничего удивительного в том, что кара Господня справедливо сразила бесстыдницу Маргариту.

«Наша прекрасная Клеменция сумеет при французском королевском дворе возвести добродетель в подобающий ранг», – думалось ей.

Вместо прощального вздоха она пергаментной своей ручкой осенила крестным знаменем сверкающий в солнечных лучах порт; потом, в короне на серебряных волосах, судорожно поводя шеей и подбородком, она скованной, но все еще твердой походкой направилась в часовню; запершись там, она возблагодарила Небеса, помогавшие ей в течение долгих лет исполнять свою королевскую миссию, и вознесла к Господу великую скорбь женщины, доживающей отпущенный ей срок.

Тем временем «Святой Иоанн», огромный круглый корабль, белый с золотом, с поднятыми на мачте стягами Анжу, Венгрии и Франции, начал маневрировать, отваливая от берега. Капитан и весь экипаж судна поклялись на Евангелии защищать своих пассажиров от бурь, от варваров-пиратов и от всех опасностей плавания. Статуя святого Иоанна Крестителя, покровителя судна, ярко блестела на корме под лучами солнца. Сотня вооруженных людей: дозорные, лучники, стражники с пращами для метания камней – стояли на положенных им местах,



готовые при случае отразить атаки морских разбойников. Трюмы были забиты съестными припасами, а в помещении для балласта стояли амфоры с маслом, бутылки вина и корзины со свежими яйцами. Большие, окованные железом сундуки, где хранились шелковые платья, драгоценности, ювелирные изделия и свадебные подарки принцессы, были выстроены в ряд в специальном отсеке – просторной каюте, устроенной между грот-мачтой и кормой и устланной восточными коврами; тут должны были ночевать неаполитанские рыцари, составлявшие свиту принцессы.

На набережную сбежались все жители города, пожелавшие присутствовать при отплытии корабля, который в их глазах был кораблем счастья. Женщины подымали вверх детей. Из общего гомона, стоявшего над густой толпой, вырывались растроганные и бурные возгласы, на которые так щедры неаполитанцы, фамильярные в обращении со своими кумирами:

– *Guardi com'è bella!*[1 - Посмотри, какая она красавица! (ит.)]

– *Addio Donna Clemenza! Sia felice!*[2 - Прощайте, донна Клеменция! Будьте счастливы! (ит.)]

– *Dio la benedica, nostra principessa!*[3 - Да благословит Бог нашу принцессу! (ит.)]

– *Non si dimentichi di noi!*[4 - Не забывайте нас! (ит.)]

Ибо в воображении неаполитанцев донна Клеменция жила окруженная некоей легендой. До сих пор здесь сохранилась память о ее отце, красавце Карле Мартелле, друге поэтов, и особенно божественного Данте, о просвещенном государе, столь же искусном музыканте, сколь доблестном воине, который путешествовал по всему полуострову в сопровождении двухсот французских, провансальских и итальянских дворян, одетых, как и он, в алое и темно-зеленое и сидящих на конях, убранных серебром и золотом. Про него говорили, что он и впрямь сын Венеры, ибо обладал «пятью дарами, кои сами призывают к любви и кои суть: здоровье, красота, богатство, досуг и молодость». Он уже готовился вступить на престол, но в двадцатичетырехлетнем возрасте его в одночасье сразила чума, а его супруга, принцесса Габсбургская, когда до нее дошла страшная весть, скончалась, что немало поразило народное воображение.

Неаполь перенес свою любовь на Клеменцию, которая с годами все больше походила на своего отца. Эту царственную сиротку благословляли в бедных кварталах города, где она щедро раздавала милостыню; любое человеческое горе вызывало ее сочувствие. Художники школы Джотто вдохновлялись красотой ее лица и придавали мадоннам и святым великомученицам на своих фресках черты Клеменции; еще и в наши дни путешественник, посетивший церкви Кампаньи и Апулии, восхищается запечатленными на заалтарных образах золотыми локонами, кротостью светлого взгляда, изящным поворотом чуть склоненной шеи, длинными тонкими кистями рук, не подозревая, что перед ним запечатлена она, красавица Клеменция Венгерская.

Стоя на окруженной зубцами палубе, возвышавшейся над уровнем моря на целых тридцать футов, нареченная короля Франции бросила прощальный взгляд на этот знакомый ей с детства пейзаж, на старый замок Эф, где она родилась, на Новый замок, где она росла, на эту шумную толпу, которая слала ей воздушные поцелуи, на весь этот сверкающий, пыльный и величественный город.

«Спасибо вам, бабушка, спасибо вам, ваше величество, – думала она, обратив взор к окну, за которым уже исчез силуэт Марии Венгерской, – никогда больше я вас не увижу. Спасибо за все, что вы сделали для меня. Достигнув двадцати двух лет, я уже стала отчаиваться, не имея супруга; я думала, что мне его уже не сыскать и придется идти в монастырь. Но вы были правы, твердя о терпении. Вот теперь я буду королевой великого государства, орошаемого четырьмя реками и омываемого тремя морями. Мой кузен, король Англии, моя тетка на острове Мальорка, мой богемский родич, моя сестра, супруга Вьеннского дофина, и даже мой дядя Роберт, царствующий здесь, чьей простой подданной была я до сегодняшнего дня, станут моими вассалами, так как владеют землями во Франции или же связаны многими узами с французской короной. Но не слишком ли тяжело для меня это бремя?»

Она испытывала ликование, радость, смешанную со страхом перед будущим, жгучее смятение, которое охватывает душу при неотвратимых переменах судьбы, даже если сбываются самые смелые мечты.

– Ваш народ сильно любит вас, мадам, и хочет показать вам свою любовь, – произнес подошедший к ней толстяк. – Но ручаюсь, что народ Франции с первого взгляда полюбит вас не меньше и встреча будет столь же горячей.

– Ах, мессир Бувилль, вы всегда были моим другом, – с жаром отозвалась Клеменция.

Ей так хотелось излить на окружающих свою радость, благодарить за нее всех и каждого.

Граф де Бувилль, бывший камергер Филиппа Красивого, посол Людовика X, впервые приехал в Неаполь еще зимой, чтобы просить ее руки для своего владыки; две недели назад он вновь появился в Неаполе с поручением доставить принцессу в Париж, ибо уже ничто не препятствовало бракосочетанию.

– И вы тоже, синьор Бальони, вы тоже мой настоящий друг, – обратилась она к юному тосканцу, который состоял секретарем при Бувилле и распорядился золотыми экю, взятыми в долг у итальянских банкиров, проживавших в Париже.

Услышав эти ласковые слова, юноша низко поклонился.

И впрямь, нынешним утром все были счастливы. Толстяк Бувилль, слегка вспотевший от июньской жары и то и дело откидывавший за уши длинные пряди пегих волос, чувствовал себя на седьмом небе и гордился тем, что так удачно выполнил свою миссию и везет королю красавицу-невесту.

Гуччо Бальони мечтал о прелестной Мари де Крессе, с которой он обручился тайком от всех и для которой погрузил в трюм целый сундук подарков: шелковые ткани и расшитые шарфы. Теперь он уже не так твердо был уверен, что поступил правильно, попросив себе у дяди банкирское отделение в Нофльле-Вье. Пристало ли ему довольствоваться столь скромным положением?

«Впрочем, это только для начала: не понравится, найду лучше, да к тому же большую часть времени я буду проводить в Париже».

Не сомневаясь в поддержке новой государыни, Гуччо уже видел перед собой неограниченные возможности для возвышения; он уже представлял себе Мари придворной дамой королевы, а себя или королевским хлебодаром, или казначеем. Сам Ангерран де Мариньи начинал не с большего. Правда, он плохо кончил... но ведь он не был ломбардцем.

Положив ладонь на рукоятку кинжала, задрав подбородок, Гуччо смотрел на разворачивавшуюся перед ним панораму Неаполя, словно собирался купить город.

Десять галер сопровождали корабль вплоть до выхода в открытое море: еще минута – и неаполитанцы увидели, как удаляется от них эта ослепительно-белая плавучая крепость, смело бороздившая морские просторы.

## Глава II

### Буря

Прошло несколько дней, и от «Святого Иоанна» остался лишь один жалобно скрипевший остов. Лишившись половины своих мачт, корабль блуждал по воле ветра и игравших им огромных валов, и, хотя капитан старался держать судно по волне, по наиболее вероятному курсу в сторону французских берегов, он отнюдь не был уверен, что ему удастся доставить своих пассажиров в порт.

Возле Корсики корабль неожиданно попал в бурю, недолгую, но свирепую; такие шквалы нередко проносятся над Средиземным морем. При попытке встать на якорь против ветра у берегов острова Эльбы было потеряно шесть якорей, и судно чуть было не выбросило на прибрежные скалы. Пришлось продолжать путь среди огромных, стеной встающих волн. День, ночь, еще один день длилось это адское плавание. Многие матросы, стараясь поднять остатки парусов, были ранены. Корзины, где хранились камни для метания, рухнули со своим смертоносным грузом, предназначавшимся для варваров-пиратов. Ударами топора кое-как освободили проход в каюту, которую завалило упавшей грот-мачтой, и вызволили оттуда неаполитанских дворян. Все сундуки с платьями и драгоценностями, все ювелирные украшения принцессы, все свадебные подарки смыло волной. Устроенный на носу походный лазарет, где орудовал костоправ-цирюльник, был набит людьми. Священник не мог даже справлять «сухой» мессы[5 - Священник не мог даже справлять «сухой» мессы... – В ту эпоху месса, которую служили на борту кораблей, у подножия грот-мачты, была особой, так называемой «сухой» мессой, потому что обходилась без освящения даров и причастия. Такая необычная литургическая форма объясняется, возможно, опасением, как бы из-за морской болезни облатка не была извергнута обратно.],

ибо дароносицу, чашу, святые книги и церковное облачение унесло волной. Вцепившись одной рукой в веревку, в другой сжимая распятие, он исповедовал тех, кто уже готовился отойти в мир иной.

Магнитная стрелка не могла помочь кормчим, так как без толку кружилась во все стороны на самом дне сосуда, где почти не оставалось воды. Капитан, буйный латинянин, в знак отчаяния порвал свои одежды от ворота до пояса и перемежал слова команды яростными воплями: «Помоги мне, Отец Небесный!» Тем не менее он, по-видимому, неплохо знал свое дело и как мог пытался выбраться из беды: по его приказу достали весла, такие длинные и такие тяжелые, что только семь человек, изо всех сил вцепившись в весло, могли им действовать; кроме того, он вызвал к себе двенадцать матросов и приказал им навалиться по шестеро с каждой стороны на брус руля.

Когда разыгралась буря, на капитана налетел охваченный гневом Бувилль.

– Эй вы, великий мореплаватель, разве можно так трясти принцессу, будущую супругу короля, моего владыки? – заорал на капитана бывший первый камергер Филиппа Красивого. – Если нас так швыряет, значит судно плохо нагружено. Вы не умеете ни вести корабль, ни использовать благоприятствующее течение. Если вы не поторопитесь и не исправите дело, я вас по прибытии сразу же прикажу отвести к королевским судьям, и они научат вас плавать по морю на каторжных галерах...

Но гнев его вскоре утих, ибо он слег и целых восемь часов провалялся на восточных коврах, изрыгая принятую накануне пищу, в чем ему подражала почти вся свита принцессы. С бессильно повисшей головой, с мертвенно-бледным лицом, с мокрой шевелюрой, в мокром плаще и мокрых чулках, бедняга Бувилль готовился отдать Богу душу всякий раз, когда волна подхватывала судно; он икал, стонал, жаловался, что не видать ему больше своей семьи и что не такой уж он грешник, дабы страдать столь жестоко.

Зато Гуччо проявлял удивительное мужество. В голове у него не мутилось, на ногах он держался крепко; первым делом он позаботился о том, чтобы хорошенько закрепить ящики с золотыми эку, а в минуты относительного затишья, не обращая внимания на тучи брызг, бегал за водой для принцессы или кропил вокруг нее душистым уксусом, надеясь хоть немного заглушить дурной запах – естественное следствие болезненного состояния ее спутников.

Есть такая порода людей, особенно очень молодых людей, которые инстинктивно ведут себя так, как того ждут от них окружающие. Глядят на такого юнца, скажем, презрительным оком – и он будет вести себя достойным презрения образом. Или, наоборот, проникаешься к нему уважением, веришь в него – тогда он, что называется, из кожи лезет вон и, хотя в душе обмирает от страха, действует поистине героически. Гуччо Бальони отчасти принадлежал к этой породе. В силу того что принцесса Клеменция с уважением относилась ко всем людям, независимо от того, бедны они или богаты, вельможи они или смерды, а сверх того, была особенно любезна с этим юношей, вестником ее счастья, Гуччо почувствовал себя настоящим рыцарем и вел себя куда более достойно и гордо, нежели неаполитанские дворяне из свиты принцессы.

Он был тосканец, а следовательно, способен на любые подвиги, лишь бы блеснуть перед женщиной. В то же самое время он оставался банкиром в душе и по крови и играл с судьбой, как играют на повышении биржевого курса.

«Нет более благоприятного случая войти в близость с великими мира сего, чем минута опасности, – думал он. – Если нам всем суждено пойти ко дну, то стенать, как бедняга Бувиль, все равно бесполезно. Но ежели мы выберемся целы и невредимы, то я завоюю уважение королевы Франции». А думать так в подобные минуты – значит уже проявлять немалое мужество.

Но Гуччо этим летом вообще склонен был считать себя непобедимым: он был влюблен и уверен, что любим. И поскольку голова Гуччо была набита различными героическими историями, все в мозгу этого мальчика перемешалось: и мечты, и расчеты, и честолюбивые притязания, – он знал, что искатель приключений всегда сумеет выйти из любого трудного положения, если только где-нибудь в замке его ждет дама несравненной красоты. Его дама жила в замке Крессе...

Поэтому-то он против очевидности уверял принцессу Клеменцию, что шторм вот-вот уляжется, клялся, что судно построено на редкость добротно, именно в ту минуту, когда оно угрожающе трещало по всем швам, и вспоминал, что в прошлом году во время переезда через Ла-Манш их трепало куда сильнее, чем сейчас, и, однако, вышел же он из беды цел и невредим.

– Я ездил тогда к королеве Англии Изабелле с посланием от его светлости Робера Артуа...

Принцесса Клеменция тоже вела себя примерно. Укрывшись в «парадизе» – большой парадной каюте, богато убранной для высоких гостей, – она старалась успокоить своих придворных дам, которые, словно стадо перепуганных овечек, жалобно блеяли при каждом ударе волны. Клеменция не выразила ни малейшего огорчения, когда ей сообщили, что сундуки с платьями и драгоценностями смыло за борт.

– Пусть бы вдвое больше смыло, – кротко заметила она, – лишь бы этих несчастных матросов не придавило мачтой.

Ее не так устрашала сама буря, как то дурное предзнаменование, которое виделось ей в бушевании стихий.

«Ну конечно, – думала она, – этот брак слишком высок для меня, слишком я радовалась и впала в грех гордыни, вот Бог и потопит наш корабль, ибо я не заслужила чести стать королевой».

На третье утро, когда судно вошло в полосу затишья, хотя море, казалось, не желало смиряться, а солнце не собиралось выглянуть из-за туч, она вдруг увидела на палубе толстяка Бувилля, босоногого, растрепанного, в затрапезном одеянии. Он стоял на коленях, сложив на груди руки.

– Что вы здесь делаете, мессир? – воскликнула принцесса Клеменция.

– Следую примеру его величества Людовика Святого, мадам, когда он чуть было не утонул у берегов Кипра. Он обещал пожертвовать пять марок серебра[6 - ...пожертвовать пять марок серебра... – Марка была мерой веса, равной 8 унциям, то есть полуфунту или приблизительно 244 граммам.] на украшение нефа святого Николая Варанжевилльского, если по милости Божьей доберется до Франции. Об этом мне рассказал мессир де Жуанвиль.

– Я присоединяюсь к важному обету, Бувиль, – подхватила Клеменция, – и, поскольку наш корабль находится под покровительством святого Иоанна Крестителя, обещаю, если мы останемся в живых и если по благодати Небес я рожу королю Франции сына, назвать его Иоанном.

Она тоже преклонила колена и стала молиться.

К полудню ярость моря начала стихать, и в сердцах людей затеплилась надежда. А затем солнце прорвало пелену туч, показалась земля. Капитан с радостью узнал берега Прованса, а по мере приближения к суше – бухточку Касси. Он не мог скрыть своей гордости, убедившись, что вел судно по заданному курсу.

– Надеюсь, капитан, вы немедленно высадите нас на берег! – вскричал Бувилль.

– Мне, мессир, приказано доставить вас в Марсель, – ответил капитан, – и мы от него не так уж далеко. Впрочем, у меня нет больше якорей, чтобы стать здесь, у этих скал.

Перед вечером «Святой Иоанн», который шел сейчас на веслах, показался в виду Марсельского порта. Была спущена шлюпка, отряженная на берег предупредить городские власти, по распоряжению которых подымали огромную цепь, закрывавшую вход в порт и протянутую между башней Мальбер и крепостью Сен-Никола. На пристань, где свистел мистраль, сбежались городские советники и старшины во главе с губернатором (Марсель в ту пору был еще анжуйским городом), чтобы встретить племянницу их сюзерена короля Неаполитанского.

Чуть поодаль толпились солевары, рыбаки, хозяева мастерских, где готовят весла и рыболовные снасти, конопатчики, менялы, торговцы из еврейского квартала, приказчики генуэзских и сиенских банков, и вся эта толпа в остолбенении глазела на огромный, потрепанный бурей корабль без парусов, без мачт, на матросов, плясавших от радости на палубе, обнимавших друг друга, восславлявших великое чудо.

Неаполитанские дворяне и сопровождавшие принцессу дамы пытались привести в порядок свои туалеты.

Бравый Бувилль, который за время переезда похудел на целых десять фунтов – платье висело теперь на нем как на вешалке, – твердил всем и каждому, что это он первый придумал дать обет, чем предотвратил кораблекрушение, и, следовательно, спутники обязаны своим спасением только ему.

– Мессир Юг, – возразил Гуччо, лукаво скосив глаза в его сторону, – я слышал, что во время каждой бури кто-нибудь обязательно дает обет вроде вашего, иначе просто не бывает. Чем же вы тогда объясните, что десятки кораблей все-



таки идут ко дну?

– Только тем, что на борту корабля находится неверующий вроде вас! – с улыбкой отпарировал бывший камергер.

Гуччо решил первым сойти на берег. Желая показать свое молодечество, он как на крыльях спрыгнул с трапа. И сразу же раздался вопль. За несколько дней путешествия, разгуливая по неустойчивой палубе, Гуччо отвык от твердой земли: он поскользнулся и упал в воду. Его чуть не раздавило между камнями пристани и носом корабля. Вода мгновенно окрасилась в красный цвет, ибо, падая, Гуччо поранил бок железной скобой. Его вытащили из воды окровавленного, почти без сознания и с ободренным до кости бедром. Не теряя зря времени, юношу перенесли в больницу для бедных.

### Глава III

#### Больница для бедных

Главная мужская палата была не меньших размеров, чем неф в кафедральном соборе. В глубине возвышался алтарь, где каждый день отправляли четыре мессы, а также вечерню и читали на ночь молитву. Больные познатнее занимали так называемые почетные комнаты, попросту говоря, ниши, расположенные вдоль стены; все прочие лежали по двое на кровати, валетом, так что ноги одного находились на подушке соседа. Братья милосердия в коричневых рясах с утра до вечера сновали по главному проходу: то они спешили к мессе, то разносили пищу, то ухаживали за недужными. Дела духовные были тесно связаны с делами лекарскими, пению псалмов отвечали хрипы и стоны; запах ладана не мог заглушить запаха гангрены, изнуренных лихорадкой тел; таинство смерти было открыто всем глазам. Надписи, выведенные огромными готическими буквами прямо на стене над изголовьем постелей, поучали больных и немощных, напоминая, что христианину более подобает готовиться к кончине, нежели надеяться на выздоровление[7 - ...христианину более подобает готовиться к кончине, нежели надеяться на выздоровление. – Организация и учреждения госпитальеров вдохновлены в основном уставом парижской больницы Отель-Дьё. Больницей руководили один-два провизора, избранные из каноников городского кафедрального собора. Больничный персонал набирался

из добровольцев, после строгого испытания провизорами. В парижском Отель-Дьё этот персонал состоял из четырех священников, четырех причетников, тридцати братьев и двадцати пяти сестер. Мужья и жены среди добровольцев не допускались. У братьев была такая же тонзура, как у тамплиеров; сестры стригли волосы как монахини. Устав, предписанный госпитальерам, был очень суров. Братья и сестры должны были пообещать хранить целомудрие и жить, отказавшись от всякого имущества. Ни один брат не мог общаться с сестрой без позволения мэтра или мэтрессы, назначенных провизорами для руководства персоналом. Сестрам было запрещено мыть братьям голову или ноги; такие услуги оказывались только лежащим больным. На братьев могли быть наложены мэтром телесные наказания, а на сестер – мэтрессой. Ни один брат не мог выйти в город один или со спутником, который не был указан мэтром; это же правило распространялось и на сестер. Персонал больницы не имел права принимать гостей. Братьям и сестрам разрешалось есть только два раза в день, но больных им надлежало кормить так часто, как те в этом нуждались. Каждый брат должен был спать один, одетый в полотняную или шерстяную тунику и кальсоны; сестры тоже. Если у брата или сестры в час их кончины обнаруживалось какое-либо имущество или предмет, утаенный при жизни от мэтра или мэтрессы, для них не полагалось совершать никаких религиозных обрядов и их хоронили как отлученных от церкви. В больницу был воспрещен вход любому, кто имел при себе собаку или птицу. Каждого больного, прибывшего в больницу, сначала осматривал «привратный хирург», который записывал его в книгу. Потом ему привязывали на руку бирку с его именем и датой прибытия. Он получал причастие; затем его переносили на постель и лечили «как хозяина дома». Госпиталь должен был всегда располагать многими теплыми халатами и многими парами обуви, тоже теплыми, для «согрева» больных. После выздоровления больные оставались в больнице семь полных дней – из-за опасений рецидива. Врачи носили, как и хирурги, отличительные одеяния. Лекарства готовили в больничной аптеке по указаниям врача или хирурга. Больница принимала не только пациентов с кратковременными недомоганиями, но и хронических больных. Графиня Маго д'Артуа предоставила Аррасской больнице десять кроватей с матрасами, подушками, простынями и одеялами на десять бедных больных. В описи этой больницы упоминаются десять больших деревянных чанов, служивших ваннами, подкладные судна, «чтобы класть их под бедняков в кроватях», многочисленные плоские тазики для бритья и т. д... Та же графиня д'Артуа заложила больницу и в Эдене.]

В течение почти трех недель в одной из многочисленных ниш томился Гуччо, задыхаясь от тягостной летней жары, которая, как правило, обостряет муки и усугубляет мрачность больничных палат. Печально глядел он на солнечные

лучи, пробивавшиеся сквозь узенькие щелки окошек под самыми сводами, щедро осыпавшие золотыми пятнами это сборище людских бед. Гуччо не мог пошевелиться, чтобы тут же не застонать от боли; бальзамы и эликсиры милосердных братьев жгли его огнем, и каждая перевязка превращалась в пытку. Никто, казалось, не способен был определить, затронута ли кость, но сам Гуччо чувствовал, что боль гнездится не только в порванных тканях, а много глубже, ибо всякий раз, когда ему ощупывали бедро и поясницу, он едва не терял сознание. Лекари и костоправы уверяли, что ему не грозит смертельная опасность, что в его годы от всего излечиваются, что Господь Бог творит немало чудес: взять хотя бы того же конопатчика, которого к ним не так давно принесли, – ведь у него все потроха наружу вывалились, и что же? После положенного времени он вышел из больницы еще более бодрым, чем раньше. Но от этого Гуччо было не легче. Уже три недели... и нет никаких оснований полагать, что не потребуются еще трех недель или еще трех месяцев, и он все равно останется хромым или вовсе калекой.

Он уже видел себя обреченным до конца своих дней торчать за прилавком какой-нибудь марсельской меняльной конторы, скрюченным в три погибели, потому что до Парижа ему не добраться. Если только он не умрет раньше еще от чего-нибудь... Каждое утро на его глазах выносили из палаты два-три трупа, чьи лица уже успели принять зловеще-темный оттенок, ибо в Марселе, как и во всех средиземноморских портах, постоянно гуляла чума. И все это ради удовольствия пофанфаронить, спрыгнуть на набережную раньше спутников, когда они так счастливо избежали кораблекрушения!..

Гуччо проклинал свою судьбу и собственную глупость. Чуть ли не каждый день он требовал к себе писца и диктовал ему длинные письма к Мари де Крессе, которые затем переправляли через гонцов ломбардских банков в отделение Нофля, а там старший приказчик тайком вручал их молодой девушке.

Гуччо слал Мари страстные признания в напыщенном стиле, изобилующие поэтическими образами, на что такие мастера итальянцы, когда речь заходит о любви. Он уверял, что желает выздороветь лишь ради нее, ради счастья вновь с ней встретиться, лицезреть ее милый облик каждый божий день, лелеять ее. Он молил хранить ему верность, как они в том друг другу поклялись, и сулил ей все блаженства мира. «Нет у меня иной души, как ваша, в сердце моем никогда иной и не будет, и, ежели уйдет она от меня, с нею вместе уйдет и жизнь моя».

Ибо этот самонадеянный ломбардец, будучи теперь из-за собственной неловкости прикован к постели в больнице для бедных, начал сомневаться во всем и боялся, что та, которую он любит, не захочет его ждать. В конце концов Мари надоест возлюбленный, который вечно находится в разъездах, и ей приглянется какой-нибудь юный рыцарь из их провинции, охотник и победитель на турнирах.

«Мне повезло, – думал он, – что я ее полюбил первый. Но прошло уже почти полтора года с тех пор, как мы обменялись первым поцелуем. Она начнет сомневаться. Предупреждал же меня дядя! Кто я такой в глазах девицы благородного рода? Простой ломбардец, то есть существо чуть получше еврея, но все же похуже христианина и уж никак не человек их ранга».

Со страхом глядя на свои иссохшие неподвижные ноги, Гуччо думал, сумеет ли он когда-нибудь ходить, и тем не менее в своих письмах к Мари де Крессе продолжал описывать сказочную жизнь, которую он ей уготовит. Ведь он вошел в милость к новой королеве Франции и может надеяться на ее покровительство. По его словам получалось, будто это он устроил брак короля. Он рассказывал о «своей миссии» в Неаполе, о буре и о том, как он себя вел, подбадривая потерявший мужество экипаж. Даже несчастье с ним произошло от рыцарских его порывов: он хотел поддержать принцессу Клеменцию, когда та спускалась с корабля, правда стоявшего у причала, но все еще раскачивавшегося на волнах, и тем самым спас ее от падения в воду.

О своих злоключениях Гуччо написал также дяде Спинелло Толомеи; он просил банкира сохранить за ним, Гуччо, отделение в Нофле, а также предоставить ему кредит у представителя банка в Марселе.

Многочисленные посещения ненадолго отвлекали его от черных мыслей и давали прекрасный случай поохать в компании, что куда приятнее, чем охать и стонать в одиночку. Синдик сиенских купцов навестил больного и сказал, что находится в его распоряжении; уполномоченный банка Толомеи окружил Гуччо заботами, и по его распоряжению в больницу доставляли пищу много вкуснее той, что распределяли среди недужных милосердные братья.

Как-то под вечер Гуччо с радостью увидел своего друга Боккаччо ди Келлино, торгового представителя компании Барди, который как раз проездом находился в Марселе. Ему Гуччо мог в досталь посетовать на свою судьбу.

– Подумать только, чего я лишился, – твердил Гуччо. – Я не смогу присутствовать на бракосочетании донны Клеменции, где мне было уготовано место среди самых знатных вельмож. Столько для этого сделать и вдруг оказаться в числе отсутствующих. И, кроме того, я не попаду на коронацию в Реймс! Ах, все это погружает меня в глубокую печаль... а тут еще нет ответа от моей прекрасной Мари.

Боккаччо старался утешить больного. Нофль находится не в предместьях Марселя, и письма Гуччо доставляются не королевскими гонцами. Сначала они попадают на перекладных к ломбардцам в Авиньон, затем в Лион, в Труа и в Париж; да и гонцы не каждый день отправляются в путь.

– Боккаччо, друг мой, – воскликнул Гуччо, – ведь ты едешь в Париж, так молю тебя, если только у тебя будет время, загляни в Нофль и повидайся с Мари. Передай ей все, что я тебе рассказал. Узнай, были ли ей вручены мои послания, постарайся заметить, по-прежнему ли она ко мне благосклонна. И не скрывай от меня правды, даже самой жестокой... Как по-твоему, Боккаччино, не приказать ли мне перевезти себя на носилках?

– Чтобы твоя рана снова открылась, чтобы там завелись черви и чтобы ты по пути скончался от лихорадки в какой-нибудь мерзкой харчевне? Чудесная мысль! Ты что, рехнулся, что ли? Тебе же всего двадцать лет, Гуччо.

– Еще нет двадцати!

– Тем более, что значит в твои годы потерять какой-нибудь месяц?

– Если бы только месяц! Так можно и целую жизнь потерять!

Ежедневно принцесса Клеменция посылала кого-нибудь из сопровождавших ее дворян проведать Гуччо и справиться о его здоровье. Раза три приходил толстяк Бувилль посидеть у изголовья юного итальянца. Бувилль изнемогал под бременем забот и трудов. Он пытался привести в пристойный вид свиту будущей королевы еще до отъезда в Париж. Большинство придворных дам, изнуренных плаванием, сразу же по приезде слегли в постель. Ни у кого не оказалось лишнего платья, кроме той грязной и попорченной морской водой одежды, что была на них в день отъезда из Неаполя. Сопровождавшие королеву дворяне и придворные дамы заказывали себе новые туалеты и белье у портных и

белошвеек, а платить приходилось Бувиллю. Приданое принцессы, смытое волной, пришлось делать заново; надо было купить серебро, посуду, сундуки, дорожную мебель – словом, все то, что составляет необходимую принадлежность королевского поезда. Бувилль запросил из Парижа денег; Париж посоветовал ему адресоваться в Неаполь, поскольку ущерб был нанесен в тот момент, когда за плавание отвечало еще Сицилийское королевство. Пришлось потормозить ломбардцев. Толмеи переадресовал просьбы Бувилля к Барди, которые были постоянными кредиторами короля Роберта Неаполитанского, чем и объяснялся спешный приезд в Марсель синьора Боккаччо, посланного уладить дело. Среди всей этой суеты Бувиллю очень и очень не хватало Гуччо, и бывший камергер являлся к больному скорее для того, чтобы пожаловаться на свою горькую судьбину и попросить у юного ломбардца совета, нежели для того, чтобы его подбодрить. Бувилль смотрел на Гуччо с таким видом, словно говорил: «Так меня подвести! Меня!»

– Когда вы уезжаете? – спросил Гуччо, с тоской ожидавший минуты расставания.

– О бедный мой друг, не раньше половины июля.

– А вдруг я к тому времени поправлюсь!

– От всей души желаю этого. Постарайтесь, дружок, получше; выздоровев, вы окажете мне огромную услугу.

Но прошла половина июля, а Гуччо еще не вставал с постели, куда там! Накануне отъезда Клеменция Венгерская решила лично проститься с больным. И так уж все товарищи Гуччо по палате завидовали ему: и посещали итальянца чаще других, и ухаживали за ним заботливее, и сразу же удовлетворяли все его требования и желания. Но после того, как двери главной палаты больницы для бедных распахнулись однажды перед невестой короля Франции, появившейся в сопровождении двух придворных дам и полудюжины неаполитанских дворян, вокруг Гуччо начали создаваться легенды, главным героем которых стал он сам. Милосердные братья, служившие вечерню, удивленно переглянулись и затаили новый псалом слегка охрипшими от волнения голосами. Красавица-принцесса преклонила колена, как самая обыкновенная прихожанка, а когда служба окончилась, она, сопровождаемая сотней восхищенных глаз, пошла по проходу между кроватями вдоль выставленного, словно напоказ, человеческого страдания.

– О бедняжки! – вздыхала она.

Клеменция тут же приказала раздать от ее имени милостыню всем недужным и пожертвовать двести ливров на это богоугодное заведение.

– Но, мадам, – шепнул ей Бувилль, шедший рядом, – так у нас не хватит денег.

– Что из того! Лучше потратить деньги здесь, чем закупать чеканные кубки или шелковые ткани для нарядов. Мне стыдно при мысли, что мы печемся о такой суете, стыдно даже быть здоровой при виде стольких страданий.

Она принесла Гуччо маленькую нательную ладанку, заключавшую в себе кусочек одеяния святого Иоанна «с явно видимой каплей крови Предтечи», – эту реликвию она приобрела за немалую сумму у еврея, понаторевшего в торговле подобного рода. Ладанка была подвешена к золотой цепочке, и Гуччо тут же надел ее на шею.

– Ах, милый синьор Гуччо, – сказала принцесса Клеменция, – как мне грустно видеть вас здесь. Вы дважды проделали длительное путешествие вместе с мессиром Бувиллем и стали для меня вестником счастья; в море вы оказывали мне помощь, и вот вы не сможете присутствовать на моей свадьбе и всех последующих празднествах!

В палате стояла нестерпимая жара, словно в раскаленной печи. Собиралась гроза. Принцесса вынула из своей сумки для милостыни платочки и отерла блестящее от пота лицо раненого таким естественным, таким нежным движением, что у Гуччо слезы навернулись на глаза.

– Но как же это с вами произошло? – спросила Клеменция. – Я ничего не видела и до сих пор не понимаю, что случилось.

– Я... я полагал, мадам, что вы спуститесь на берег, а так как корабль все еще качало, вот я и решил поскорее сойти и подать вам руку. Уже темнело, видно было плохо, и... вот... нога соскользнула.

Отныне Гуччо и сам уже верил в свою полуправду-полуложь. Ему ужасно хотелось, чтобы все произошло именно так! Ведь, в конце концов, он почему-то

спрыгнул первым.

– Милый синьор Гуччо! – взволнованно повторила Клеменция. – Выздоровливайте скорее, я буду так этому рада. И непременно дайте о себе знать; двери королевских покоев всегда будут открыты для вас как для моего верного друга.

Принцесса и Гуччо обменялись долгим, безгрешным, невинным взглядом, ибо она была дочерью короля, а он сыном ломбардца. Если бы судьбе было угодно поставить их со дня рождения в иные условия, возможно, этот юноша и эта девушка смогли бы полюбить друг друга.

Им не суждено было более свидеться, однако их судьбам предстояло так странно, так трагически переплестись между собой, как никогда еще не переплетались человеческие судьбы.

#### Глава IV

##### Зловещие предзнаменования

Недолго продолжалась хорошая погода. Ураганы, грозы, град и ливни, обрушившиеся на запад Европы, – их ярость уже довелось испытать принцессе Клеменции во время своего морского путешествия – вновь разразились в день отбытия королевского поезда. После первой остановки в Экс-ан-Провансе и второй – в Оргонском замке путники под проливным дождем прибыли в Авиньон. С кожаной расписной крыши носилок, в которых путешествовала принцесса, в три ручья стекала вода. Неужели новые прекрасные туалеты будут испорчены, неужели сундуки промокнут насквозь, потускнеют расшитые серебром седла – словом, пропадет зря все это великолепие, не успев даже ослепить своим блеском жителей Франции? И совсем уж некстати мессир де Бувилль схватил простуду. Простудиться в июле месяце – да это же курам на смех! Бедняга кашлял, чихал, из носу у него текло, даже смотреть было страшно. С годами он становился слаб здоровьем, а может быть, просто долина Роны и окрестности Авиньона действовали на него столь пагубно.



Едва только путники успели расположиться в одном из дворцов папского города, как монсеньор Жак Дюэз, кардинал курии, пожаловал в сопровождении высшего духовенства приветствовать Клеменцию Венгерскую. Старый прелат-алхимик, в течение полутора лет домогавшийся папской тиары, сохранил вопреки своим семидесяти годам до странности юношеские повадки. Он бодро перепрыгивал через лужи под порывами сырого ветра, безжалостно задувавшего факелы, которые несли впереди его преосвященства.

Кардинал Дюэз считался официальным кандидатом Анжу-Сицилийского дома. То обстоятельство, что Клеменция должна была вступить в брак с королем Франции, несомненно, благоприятствовало его замыслам и подкрепляло его позиции. В лице новой королевы он рассчитывал найти себе опору при парижском дворе и надеялся, что с ее помощью ему удастся получить от французских кардиналов недостающие для избрания голоса.

Легкий на ногу, как молодой олень, он одним духом взлетел по лестнице, а вслед за ним тем же аллюром приходилось нестись пажам, поддерживавшим шлейф кардинальской мантии. С собой Дюэз привел кардинала Орсини и двух кардиналов Колонна, столь же ревностно преданных интересам Неаполя, – и все эти священнослужители тоже с трудом поспешали за старцем.

Желая оказать всему этому пурпуру и багрянцу достойный прием, мессир Бувилль, хоть и не отнимал платка от носа и гнусавил, постарался приосаниться, как и подобает королевскому послу.

– Стало быть, монсеньор, – обратился он к кардиналу как к старому знакомцу, – вас, я вижу, куда легче поймать, когда сопровождаешь племянницу короля Неаполитанского, чем когда приезжаешь к вам с приказом от короля Франции: сейчас, слава богу, мне уже не нужно носиться по полям...

Бувилль мог позволить себе этот любезно-насмешливый тон: кардинал обошелся французской казне в четыре тысячи золотых ливров.

– А это потому, ваша светлость, – отозвался кардинал, – что королева Мария Венгерская и сын ее король Роберт всегда и по всем поводам дарили меня своим доверием, что я почитаю великой для себя честью; и союз их семьи с престолом Франции в лице нашей прекрасной высокочтимой принцессы состоялся лишь потому, что Господь Бог внял моим молитвам.

Бувиллю уже была знакома эта странная скороговорка, этот надтреснутый, глуховатый, бесцветный голос, и всякий раз ему казалось, что говорит не сам кардинал, а кто-то другой, и говорит с кем-то другим, только не со своим собеседником. Сейчас, например, его слова были адресованы главным образом Клеменции, с которой кардинал не спускал глаз.

– И, кроме того, мессир Бувиль, положение тоже в достаточной мере изменилось, – продолжал Дюэз, – и за вами уже не стоит тень его светлости Мариньи, который правил страной слишком долго и готов был всех нас вышвырнуть прочь. Правда ли, что он оказался нечист на руку и ваш молодой король, чья доброта известна всем и каждому, не смог спасти его от праведной кары?

– Вы же знаете, что мессир Мариньи был моим другом, – храбро отпарировал Бувиль. – Он начал свою карьеру у меня в качестве простого конюшего. Думаю, что не так он, как его служащие оказались нечисты на руку. Тяжело мне было видеть, как губит себя мой товарищ, как упорствует он в своей гордыне и всем желает управлять самолично. Я предостерегал его...

Но кардинал Дюэз еще не источил запас своих коварных любезностей.

– Вот видите, мессир, – подхватил он, – оказалось, совершенно незачем было торопиться с расторжением брака вашего государя, о чем мы с вами как раз и беседовали в тот ваш приезд. Нередко само провидение спешит навстречу нашим желаниям, если, конечно, ему помогает в том твердая рука...

Говоря все это, он не спускал глаз с принцессы. Бувиль заторопился переменить разговор и отвлечь прелата от скользкой темы.

– Ну а как, ваше преосвященство, обстоят дела в конклаве? – спросил он.

– Никаких перемен, мессир, – иными словами, нового ничего. Монсьёру д’Ошу, нашему уважаемому кардиналу-камерлингу, не удалось нас собрать, а быть может, просто не пожелалось, конечно из самых благих побуждений, кои известны лишь ему самому. Одни кардиналы сидят в Карпантрассе, другие – в Оранже, мы сами – здесь, Каэтани – во Вьенне...

Дюэз знал, что путники собирались остановиться во Вьенне у сестры Клеменции, что была замужем за дофином Вьеннским[8 - ...замужем за дофином Вьеннским. - Суверенные сеньоры Вьеннские именовались дофинами из-за дельфина (dauphin), украшавшего их шлемы и герб, откуда и название Дофине, данное области, над которой они осуществляли свою власть и которая включала в себя Грезиводан, Роанне, Шансор, Бриансонне, Амбрюнуа, Капансе, Вьеннуа, Валантинуа, Диуа, Трикастинуа и княжество Оранж. В начале XIV в. власть там принадлежала третьему дому Вьеннских дофинов, дому ла Тур дю Пен. Только в конце царствования Филиппа VI Валуа, по договорам 1343 и 1349 гг. Эмбер II уступил Дофине французской короне при условии, что титул дофина будет впредь носить старший сын короля Франции.]. Он не преминул разразиться обвинительной речью, правда завуалированной, но убивавшей наповал кардинала Франческо Каэтани, племянника папы Бонифация VIII и одного из самых опасных своих соперников.

- Любо поглядеть, как он сейчас с беспримерной отвагой защищает память своего покойного дядюшки; мы-то ведь не забыли, что, когда ваш друг Ногаре прибыл вместе со своей кавалерией в Ананьи с целью осадить папу Бонифация, монсеньор Франческо покинул своего бесценного родича, которому был обязан кардинальской шапкой, и скрылся, переодевшись слугой. Человек этот, как видно, рожден для измен, как другие - для священного сана, - заключил Дюэз.

Глаза его зажглись старческим пылом, ярко заблестели на сухоньком, обглоданном годами личике. По словам кардинала, Каэтани был способен на любое злодейство, в этом человеке живет сам дьявол, демон...

- ...Демон же, да было бы вам известно, с легкостью проникает повсюду; нет для него большей отрады, чем поселиться в одном из наших коллег.

А ведь в ту эпоху упоминание о демоне не было простой метафорой, тогда не произносили походя это слово, за которым следовали обвинение в ереси, пытка и костер.

- Я отлично понимаю, - добавил Дюэз, - престол святого Петра не может бесконечно пустовать без ущерба для всего мира. Но я-то что могу поделаться? Я предлагал, хотя отнюдь не склонен взять на себя эту достаточно тяжкую обузу, я соглашался взвалить на себя это бремя, поскольку, по всей видимости, кардиналы сойдутся лишь на моей кандидатуре. Если Господу Богу будет угодно возвысить менее достойного на высочайшую должность, что ж, я подчинюсь

воле Божьей. Что я-то могу сделать, мессир де Бувилль?

Вслед за тем кардинал преподнес принцессе Клеменции великолепный экземпляр, с множеством прекрасных миниатюр, своего «Философического эликсира» – прославленного среди алхимиков трактата, из которого принцесса Клеменция вряд ли сумела бы понять хоть строчку. Ибо наш кардинал Дюэз, великий мастер интриг, обладал в то же время всеобъемлющими знаниями и в области медицины, и в области алхимии, и во всех прочих науках. В течение двух последующих веков его труды неоднократно переписывались потомками.

Он удалился в сопровождении собственных прелатов, собственных викариев и собственных пажей: уже и сейчас он жил, как подобает папе, и изо всех своих сил мешал избранию на Святой престол любого другого претендента.

На следующий день, когда свита принцессы Венгерской тронулась в путь к Валансу, Клеменция обратилась к Бувиллю с вопросом:

– Что имел в виду кардинал, говоря о той помощи, которую мы оказываем Провидению, дабы сбылись наши заветные желания?

– Не знаю, мадам, не припоминаю, – ответил растерявшийся Бувилль. – Думаю, он имел в виду мессира Мариньи, впрочем, я не совсем понял.

– А по-моему, он говорил как раз о расторжении брака моего будущего супруга и о том, как трудно было добиться этого расторжения. Кстати, отчего скончалась королева Маргарита Бургундская?

– Конечно же от простуды, которую она схватила в тюрьме, и от угрызений совести за свои прегрешения.

И Бувилль начал усиленно сморкаться, чтобы скрыть смятение: слишком хорошо известны ему были слухи, вызванные скоропостижной смертью первой супруги короля, и поэтому он не желал поддерживать беседу.

Клеменция внешне приняла объяснение Бувилля, однако в душе она не была спокойна.

«Итак, – думала Клеменция, – моим счастьем я обязана смерти другой женщины».

Она почувствовала вдруг, что непостижимыми узами связана с той королевой, место которой собиралась занять и чей грех внушал ей столь же сильный страх, сколь сильное сострадание внушала понесенная Маргаритой кара.

Истинное милосердие, нередко чуждое проповедникам оного, гораздо полнее проявляет себя в тех порывах, которые побуждают нас не раздумывая делить с виновным его вину и с судьями – бремя их ответственности.

«Проступок Маргариты стал причиной ее смерти, а смерть ее сделала меня королевой», – думала Клеменция. Клеменции чудился в том приговор ей самой, и повсюду виделись ей дурные предзнаменования. Буря, несчастный случай с юным ломбардцем, эти дожди, ставшие подлинным бедствием, – сколько зловещих признаков разом.

А непогода упорно не желала стихать. Деревни, через которые проезжал их кортеж, являли плачевное зрелище. После голодной зимы дружно зазеленели посевы, суля обильный урожай, и крестьяне было приободрились; несколько дней непрерывного мистраля и страшных гроз унесли все их надежды. Вода, неиссякаемые потоки воды лились с неба и губили на своем пути все живое.

Реки – Дюранс, Дром, Изер – вышли из берегов. По-весеннему полноводная Рона, вдоль которой лежал их путь, грозила затопить всю округу. Нередко кортеж вынужден был останавливаться и убирать с дороги поваленное бурей дерево.

«Какое удручающее несходство! – думалось Клеменции. – У нас в Кампанье – лазурные небеса, улыбчивый народ, сады, манящие золотыми плодами, а здесь – опустошенные долины, где, как призраки, бродят тощие фигуры, и поселки, мрачные, наполовину обезлюдившие после голодной зимы. И чем дальше на север, тем, конечно, будет еще хуже. В суровую же я попала страну».

Клеменции хотелось облегчить людское горе, и она то и дело останавливала носилки, раздавала милостыню всем этим людям, поистине достойным жалости. Бувиллю пришлось наконец вмешаться и умерить ее порывы.

– При таком размахе, мадам, нам, пожалуй, не на что будет добраться до Парижа.

Прибыв во Вьенн к своей сестре Беатрисе, супруге суверена Дофине, Клеменция узнала, что король Людовик только что отправился на войну с фламандцами.

– Господи, Владыка, – прошептала она, – неужели мне суждено стать вдовой, даже не повидав моего будущего супруга? И неужели мне суждено было прибыть во Францию спутницей бед?

## Глава V

Взвивается королевский стяг

Во время суда над Ангерраном де Мариньи Карл Валуа обвинил бывшего правителя государства в том, что тот продался фламандцам, заключив с ними мирный договор в ущерб интересам Франции.

А ведь не успели вздернуть Мариньи на цепь монфоконской виселицы, как граф Фландрский тут же нарушил договор. Сделал он это более чем просто: отказался даже под страхом неизбежного королевского гнева прибыть в Париж и принести вассальную присягу новому королю. Одновременно он перестал платить дань и вновь предъявил свои требования на территории Лилля и Дуэ.

Когда до Людовика X дошла эта весть, он впал в неопишемую ярость. Он был подвержен подобным приступам бешенства, недаром его прозвали Сварливым; в такие минуты все окружающие трепетали, но не столько за себя, сколько за самого Людовика, так как всякий раз он бывал на грани умопомешательства.

И сейчас, узнав о непокорности фламандцев, он впал в такой гнев, какого у него еще не видели. Несколько часов подряд кружил он по своему кабинету, как дикий зверь, попавший в ловушку, со встрепанными волосами, побагровевшей шеей, опрокидывал ударом ноги кресла, скамьи, швырял об пол все, что попадалось под руку, выкрикивал бессмысленные слова. Вопли его сменялись приступами похожего на удушье кашля, сгибавшего короля пополам.

– Обложения! – кричал он. – И тут еще эта непогода! Заплатят они мне и за эту непогоду тоже! Виселиц! Дайте мне виселиц! Кто уговорил меня отказаться от сбора? На колени, на колени, граф Фландрский! И склоните голову под мою стопу! Брюгге? Спалить! Я спалю Брюгге!

С уст Людовика срывались вперемежку имена мятежных городов, сетования на задержку в пути Клеменции Венгерской, страшные угрозы. Но чаще всего на язык ему приходило короткое слово «сбор», ибо как раз за несколько дней до того Людовик X приостановил сбор особого налога, предназначавшегося для покрытия военных издержек минувшего года.

Вот тут-то и пожалели о Мариньи, конечно не смея высказывать своих мыслей вслух; вспомнили, как умел он обходиться в подобных случаях с мятежниками, как, к примеру, ответил он аббату Симону Пизанскому, когда тот сообщил, что фламандцы-де слишком разгорячены: «Сей великий пыл ничуть меня не удивляет, брат Симон, ибо он действие жары. Наши сеньоры тоже пылки и тоже любят войну... И запомните, кстати, что одними словами не развалить французского королевства, тут потребно иное». Попытались было принять в переговорах с фламандцами тот же тон, но, к несчастью, человека, который умел так говорить, уже не было в живых.

Подстрекаемый своим дядей, ибо в душе Валуа сбывшиеся мечты о власти отнюдь не притушили воинского пыла и жажды бранной славы, Сварливый тоже начал мечтать о подвигах. Он непременно соберет многочисленную армию, какой еще не видала никогда Франция, обрушится, как горный орел, на мятежных фламандцев, раздерет одних на куски, потребует выкуп с других, в течение недели приведет их к повиновению, и там, где Филиппу IV никогда не удавалось полностью добиться успеха, он, Сварливый, покажет, на что способен. Он уже представлял себе, как возвращается с поля брани, впереди несут победные стяги, сундуки с добычей и данью, которой обложат города; и тогда он не только затмит славу покойного отца, но и заставит народ забыть о своем первом браке, ибо, чтобы изгладить память о супружеских злоключениях, требуется не меньше чем война. Затем среди всеобщего ликования и оваций он – монарх, победитель и герой – поскачет галопом навстречу своей нареченной, поведет ее к алтарю, а затем коронуется.

В общем, этого молодого человека не следовало принимать слишком всерьез, можно было просто его пожалеть, поскольку при всех своих благоглупостях он, вероятно, даже страдал; но, к сожалению, под его властью находилась Франция

с ее пятнадцатью миллионами человеческих душ.

Двадцать третьего июня он собрал совет пэров и столь же злобно, сколь несвязно, объявил о вероломстве графа Фландрского и о своем решении в первых числах августа двинуть «ост», то есть королевскую армию[9 - ...двинуть «ост», то есть королевскую армию... – Посредством расширения смысла латинского слова *hostis* (враг, неприятель, противник) произошедшее от него *ost* стало обозначать войско вообще и королевское войско в частности.], к Куртре.

Выбор был сделан не особенно удачно. Существуют, по-видимому, злополучные места, как бы созданные для бедствий, и слово «Куртре» для людей тогдашнего времени звучало примерно так, как звучит в наши дни слово «Седан». Разве что Людовик X и его дядя Карл по непомерному своему самомнению выбрали Куртре именно с целью уничтожить память о поражении 1302 года, о битве, пожалуй единственной проигранной в царствование Филиппа Красивого, когда тысячи рыцарей в отсутствие короля бросались как безумные в атаку, падали в ров и гибли под ножами фландрских ткачей, – настоящая резня, к концу которой некого уже было брать в плен.

Для содержания огромной армии, которая должна была послужить воинской славе Людовика X, требовались деньги; Валуа прибег все к тем же крайним мерам, которые применял Мариньи, и в народе заговорили о том, что вряд ли стоило посылать на виселицу бывшего правителя государства, если его преемники действуют теми же методами, и притом неумело.

Решено было отпустить на свободу всех сервов, которые могут внести за себя выкуп; наложили на евреев непосильную дань за право жительства и торговли в столице; потребовали новую подать от ломбардцев, которые отныне начали глядеть на новое царствование куда менее благосклонным оком. Две срочные контрибуции в год[10 - Две срочные контрибуции в год... – В первые дни июля 1315 г. Людовик X издал два указа о ломбардцах. Первый недвусмысленно заявлял, что «сидельцы», иначе говоря проживающие во Франции итальянские коммерсанты, должны платить один су с ливра на весь их товар и в таком случае они будут избавлены от войсковых, конных и любых других военных поборов. Так что это был исключительный пятипроцентный налог. Второй указ, от 9 июля, устанавливал общие правила о пребывании и коммерции итальянских купцов. Все операции с золотом и серебром на вес или в разменной монете, все продажи, все покупки и обмены различных товаров подлежали налогообложению – от одного до четырех денье с ливра в зависимости от области и от того,



осуществлялась ли торговля на ярмарках или вне оных. Итальянцам разрешалось иметь постоянное жительство только в четырех городах: Париже, Сент-Омере, Ниме и Ла-Рошели. Но не похоже, чтобы это последнее предписание когда-либо неукоснительно выполнялось, поскольку нарушения наверняка были довольно выгодны – либо для городов, либо для казны. За коммерческой деятельностью ломбардцев было поручено наблюдать уполномоченным, которых назначала королевская администрация.] – этого они уже никак не желали терпеть.

Задумали также обложить налогами духовенство, но священнослужители, ссылаясь на то, что Святой престол, мол, до сих пор вакантен и за отсутствием папы принимать решений они не уполномочены, отказались платить; после долгих переговоров епископы все же согласились помочь в виде исключения, но воспользовались случаем и испросили себе льгот и освобождений от дальнейших поборов, что в итоге обошлось казне куда дороже, чем полученная единовременно помощь.

Войско собрали легко, без осложнений, даже бароны встретили это с восторгом, так как засиделись без дела и радовались, что можно наконец извлечь на свет божий кирасы и попытать счастья на поле брани.

Простой люд не был склонен ликовать.

– Неужели мало того, – говорили в народе, – что половина из нас уже перемерла с голодухи, теперь еще отдавай наших мужчин и наши денежки потому, что король воевать задумал!

Но народ уверили, что во всех бедах повинна Фландрия; солдат разжигала надежда на добычу и привольные деньки грабежей и насилий; для многих война была единственной возможностью покончить с монотонным ежедневным трудом и заботами о хлебе насущном; никто не желал прослыть в чужих глазах трусом, и, ежели бы нашлись такие, что отказались идти на войну, у короля хватило бы стражников или сеньоров поддержать порядок, украсив придорожные вязы трупами повешенных. Согласно ордонансам Филиппа Красивого, по-прежнему остававшимся в силе, всякий здоровый мужчина от восемнадцати до шестидесяти лет считался военнообязанным, разве что он мог внести за себя денежный выкуп или занимался полезным для государства ремеслом.

В ту эпоху мобилизация проходила по территориальному принципу. Рыцари считались как бы принесшими воинскую присягу офицерами, которым вменялось в обязанность набирать себе войско среди своих вассалов, подданных или сервов. Ни один рыцарь или даже конюший не отправлялся на войну в одиночку. Их сопровождали вооруженные слуги, оруженосцы, пешие ратники. Рыцари считались владельцами своих коней, своего вооружения, равно как и оружия своих вассалов. Простой рыцарь, не имевший собственного знамени, приравнивался примерно к лейтенанту; собрав и вооружив своих людей, он присоединялся к рыцарю более высокого ранга, то есть к своему сюзерену. Рыцарь – обладатель знамени соответствовал примерно капитану; знатные рыцари, имевшие право распускать знамя, – полковнику, а рыцари с двойными знаменами были как бы генералами и командовали крупными соединениями, собранными, по тогдашней юрисдикции, в их графстве или на их баронских землях.

Случалось, что во время битвы всадники, оставив в тылу пеших ратников, соединялись для совместной атаки, что, как известно, приносило иной раз прекрасные результаты.

Под знаменами королевского брата графа Филиппа Пуатье собралось войско, равное по численности целому армейскому корпусу, поскольку в него входили одновременно войска Пуату и войска графства Бургундского, пфальцграфом которого Филипп был по жене; сверх того, под его началом находились десять рыцарей, имеющих право распускать знамя, и среди них граф д'Эвре, дядя короля, граф Жан де Бомон, Миль де Нуайе, Ансо де Жуанвиль, сын великого Жуанвиля, и даже Гоше де Шатийон, который хоть и был коннетаблем Франции – иными словами, главнокомандующим всеми армиями, – однако ленные его войска были приданы вышеназванному крупному соединению.

Не без умысла Филипп Красивый доверил своему второму сыну, когда тому не исполнилось еще и двадцати двух лет, неограниченную власть над войском, также объединил под его началом самых верных людей с целью эту власть укрепить.

Под знаменами Карла Валуа шли одновременно войска Мэна, Анжу и Валуа, в числе их находился престарелый рыцарь д'Онэ, отец двух погибших на плахе любовников Маргариты и Бланки Бургундских.

Города, так же как и села, не избежали контрибуции. Париж обязался выставить четыре сотни всадников и две тысячи пеших ратников, содержание коим должно было выплачивать купечество квартала Сите каждые две недели, а это доказывало, что, по мнению короля, война долго не затянется. Необходимые для обоза лошади и повозки реквизировали в монастырях.

Двадцать четвертого июля 1315 года с некоторым запозданием, как и во всех прочих случаях, Людовик получил в Сен-Дени из рук аббата Эгидия де Шамбли, который был также хранителем знамени, орифламму Франции – длинное полотнище красного шелка с золотыми пламенами (отсюда и само название орифламмы: *or* – золото и *flamme* – пламя). Полотнище заканчивалось двумя языками и было прикреплено к длинному древку, покрытому позолоченной медью. По обе стороны от орифламмы, почитаемой наравне с главнейшими реликвиями Франции, несли два королевских знамени: одно – голубое с вышитыми на нем лилиями и другое – с белым крестом.

И вот огромная армия двинулась в поход, ведя за собой пеших ратников, прибывших с запада, с юга, с юго-востока, лангедокских рыцарей, войска Нормандии и Бретани. Знамена герцогства Бургундского и Шампанского, а также Артуа и Пикардии должны были присоединиться к ним по дороге, у Сен-Кантена.

День выдался безоблачный, редкость по нынешнему промозглому лету. Солнечные блики играли на остриях копий, на стальных латах, на кольчугах, на боевых гербах, расписанных яркими красками. Рыцари хвастались друг перед другом новинками по части доспехов: у одного – новой формы шлем, у другого – забрало надежнее защищает лицо и одновременно дает лучший угол видимости, у третьего – нараменник лучше защищает плечи от ударов палицы и по нему, не причиняя вреда, скользит лезвие меча.

Вслед за войском на десятки лье растянулись цугом четырехколесные повозки, груженные съестными припасами, кузнечным оборудованием, запалами и стрелами для арбалетчиков; ехали торговцы самыми различными товарами, получившие разрешение следовать за армией, и целые выводки девок под началом содержателей непотребных домов. Все это продвигалось вперед среди удивительной атмосферы героизма и ярмарочной суеты.

На следующий день снова начался дождь, пронизывающий, упорный, размывавший дороги, углублявший колеи, стекавший по железным шлемам, по

кольчугам, оседавший каплями на лоснившихся лошадиных крупах. Каждый человек стал тяжелее фунтов на пять.

И в последующие дни дождь, дождь, дождь...

Войско, идущее на Фландрию, так и не достигло Куртре. Оно остановилось в Бондюи, неподалеку от Лилля, перед разлившимся Лисом, который перегородил путь, затопил своими водами поля, размыл дороги, насквозь промочил глинистую почву. Так как дальше двигаться было невозможно, лагерь разбили тут же, среди потопа.

## Глава VI

### «Грязевой поход»

В просторном шатре, сплошь затканном королевскими лилиями, где, однако, при каждом шаге под ногами чавкала грязь не хуже, чем под открытым небом, Людовик X в обществе своего брата Карла, графа де ла Марш, своего дяди графа Карла Валуа и его канцлера Этьена де Морне слушал коннетабля Гоше де Шатийона, докладывавшего военную обстановку. Донесение было не из веселых.

Шатийон, он же граф Порсианский и сир Кревкера, был коннетаблем уже с 1286 года, другими словами, с первых дней царствования Филиппа Красивого. Он был свидетелем поражения при Куртре, победы при Монт-ан-Певеле, видел множество битв на северной границе Франции, вечно находившейся под угрозой нападения. Шел он на Фландрию уже шестой раз за свою жизнь. Ему исполнилось шестьдесят пять лет. Казалось, ни годы, ни усталость не имеют власти над этим воином, над этим могучим старцем с тяжелой нижней челюстью. Он производил впечатление человека медлительного, скорее всего потому, что был тугодумом. Его физическая сила, его мужество в бою внушали не меньше уважения, чем его стратегические таланты. Слишком много навоевался он на своем веку, чтобы по-прежнему любить бранные дела, и теперь считал войны лишь политической необходимостью; он говорил все напрямик и не поддавался голосу пустого тщеславия.

– Сир, – начал он, – говядина и другие съестные припасы в армию не поступают, повозки застряли в шести лье отсюда, и, пытаясь вытянуть их из грязи, мы только напрасно рвем построения. Люди начинают роптать от голода, ожесточаются: тем частям, у которых еще есть пища, приходится защищать свои запасы от тех, у кого уже ничего нет; куда уж дальше – лучники Шампани и Перша схватились врукопашную, и не особенно-то будет приглядно, если ваши ратники пойдут брат на брата, даже не выдержав битвы с врагом. Я вынужден буду дать приказ повесить кое-кого из этих драчунов, а мне это не по душе. Виселицами людей не накормишь. У нас столько больных, что цирюльники-костоправы не успевают их лечить, а вскоре нам уже не цирюльники будут надобны, а кюре. Вот уж четыре дня, как длится непогода, и не видно ей конца. Еще день-другой – и угроза голода станет всеобщей, а тогда никто не сможет воспрепятствовать людям покинуть поле брани в поисках пищи. Все плесневеет, все гниет, все ржавеет...

Он снял стальную сетку, прикрывавшую голову и плечи, и утер лоб. Король шагнул назад и вперед по шатру гневный, встревоженный. Снаружи донеслись дикие крики и щелканье кнутов.

– Пусть немедленно прекратят этот галдеж, – заорал Сварливый, – думать мешают!

Конюший приподнял полу шатра. Дождь не унимался. Пятнадцать пар лошадей застряли в грязи, они выбивались из сил, но не могли сдвинуть с места огромную бочку.

– Кому везете вино? – обратился король к возчикам, скользившим на глинистой дороге.

– Его светлости графу д'Артуа, государь! – крикнули ему в ответ.

С минуту Сварливый глядел на них своими вытаращенными тускло-зелеными глазами, затем покачал головой и молча отвернулся.

– А что я вам говорил, государь, – заметил Гоше. – Сегодня у нас, пожалуй, еще будет что пить, но завтра пусть и не рассчитывают... Жалею, что я не проявил должной настойчивости, когда имел честь давать вам советы. Я придерживался того мнения, что нам надо было стать бивуаком, укрепиться на какой-нибудь

высоте, а не месить здесь грязь. Мой кузен Валуа да и вы сами настаивали на продвижении вперед. А я побоялся, что меня примут за труса и станут попрекать моим преклонным возрастом, если я буду против продвижения армии. И я был не прав.

Карл Валуа уже приготовился возразить, но король перебил его:

– А фламандцы?

– Они стоят напротив, по ту сторону реки, их тоже достаточное количество, и им так же несладко, насколько могу судить, однако им легче доставлять припасы, и их поддерживает население городов и сел. Если завтра спадет вода, они окажутся более подготовленными к атаке, нежели мы к обороне.

Карл Валуа пожал плечами.

– Ну-ну, Гоше, просто дождь испортил вам настроение, – произнес он. – Нет, вам не удастся меня убедить, что добрая наша конница не разобьет наголову этих ткачей, продвигающихся по способу пешего хождения. Как увидят они сплошную стену брони да целый лес копий, не беспокойтесь, бросятся улепетывать, как зайцы.

Несмотря на покрывавшую его грязь, Карл Валуа был поистине великолепен в своем боевом плаще, расшитом шелком, надетом поверх кольчуги, и, пожалуй, больше походил на короля, нежели сам король.

– Сразу видно, Карл, – возразил коннетабль, – что вы не были в Куртре тринадцать лет назад. Вы ведь тогда воевали в Италии, и отнюдь не ради интересов Франции, а ради папы. Но я-то видел, как эта пехтура, по вашему выражению, причинила немало бед нашим рыцарям, на свое горе слишком поторопившимся.

– Думаю, что произошло это лишь потому, что меня тогда здесь не было, – отрезал Валуа с обычной своей самонадеянностью. – А теперь я здесь.

Канцлер Морне нагнулся к молодому графу де ла Марш и шепнул ему на ухо:

– Того и гляди ваш дядя и коннетабль столкнутся лбами, так что искры посыплются, – смотрите, как схватились. От них можно паклю зажигать без всякого огнива.

– Дождь, дождь! – гневно повторил Людовик. – Неужели все всегда будет против меня?

Слабое здоровье, отец – талантливый правитель, пред чьим величием стушевывался Людовик, неверная жена, выставившая его на всеобщее посмешище, пустая казна, нетерпеливые вассалы, готовые взбунтоваться, голод, отметивший первую же зиму его царствования, буря, чуть не сгубившая его невесту... Под каким же зловещим, роковым расположением светил, которое не посмели открыть ему астрологи, появился он на свет божий, если каждое его начинание, каждое его решение наталкивается на непреодолимые препятствия; и вот теперь он был побежден... нет, даже не в честном бою, а водой, грязью, в которую завел свою армию.

В эту минуту ему донесли о приходе делегации баронов Шампани, предводительствуемой рыцарем Этьеном де Сен-Фаллем, которые требовали немедленного пересмотра хартии касательно их привилегии, данной в мае месяце; в противном случае бароны грозились покинуть лагерь.

– Сумели выбрать подходящий день! – завопил король.

В трехстах шагах отсюда сир Жан де Лонгви, сидя в своем шатре, вел беседу с каким-то странным человеком, одетым не то монахом, не то ратником.

– Принесенные вами из Испании вести весьма утешительны, брат Эврар, – говорил Жан де Лонгви, – и мне приятно слышать, что наши братья в Кастилии и Арагоне восстанавливают командорство. Им повезло больше, чем нам, вынужденным действовать втайне.

Жан де Лонгви – коротышка с резко выступавшей нижней челюстью – доводился племянником Великому магистру ордена тамплиеров Жаку де Моле и считал себя прямым его наследником и продолжателем его дела. Он поклялся отомстить за кровь своего дяди и обелить его имя. Преждевременная смерть Филиппа Красивого, во исполнение знаменитого тройного проклятия, не

насытила его ненависти, он перенес ее на наследников Железного Короля: на Людовика X, Филиппа Пуатье, Карла де ла Марша. Лонгви старался причинить царствующему дому любые неприятности, он был одним из вожаков баронской лиги, в то же самое время он пытался втайне возродить орден тамплиеров[11 - ...пытался втайне возродить орден тамплиеров... - Некоторые труды и свидетельства побуждают к заключению, что орден тамплиеров выжил и скрытно, в рассеянии существовал на протяжении многих веков. Называют имена тайных Великих магистров вплоть до XVIII в. Похоже, хоть это и не так очевидно, что в годы, следовавшие непосредственно за уничтожением ордена, тамплиеры пытались вновь подпольно сгруппироваться. Главой этой организации стал племянник Жака де Моле Жан де Лонгви, который поклялся на землях графа Бургундского (то есть Филиппа де Пуатье) отомстить за память своего дяди.], используя для этой цели огромную сеть своих посланцев, которые поддерживали связи с уцелевшими после расправы братьями.

- От всей души я желаю поражения королю Франции, - произнес он, - и к войску я присоединился лишь в надежде увидеть, как Людовика, а также и его братьев сразят добрым ударом меча.

Тщедушный, хромой, с черными, близко поставленными глазами, Эврар, бывший рыцарь-тамплиер, который вышел из застенка с изуродованной ногой, подхватил:

- Да сбудутся, мессир Жан, ваши молитвы с помощью Божьей, а нет - так с помощью Сатаны.

Тайный глава тамплиеров резким движением поднял полу шатра, желая удостовериться, что никто за ним не шпионит, и услал по каким-то пустяковым делам двух конюхов, которые без всякого злого умысла скрывались от дождя под навесом. Потом, повернувшись к Эврару, произнес:

- Нам нечего ждать от короля Франции. Один только новый папа может восстановить орден тамплиеров и вернуть нам наши здешние и заморские командорства. Ах! Какой же это будет счастливый денек, брат Эврар!

Оба собеседника на минуту погрузились в раздумье. Орден был разгромлен всего лишь восемь лет назад, осудили его и того позже, а со смерти Жака де Моле, погибшего на костре, не прошло и года. Воспоминания были еще свежи,



надежды еще живы. В мечтах Лонгви и Эврар видели себя в белых плащах с черным крестом, с золотыми шпорами, вспоминали о своих былых привилегиях и крупных денежных операциях.

– Итак, брат Эврар, – начал Лонгви, – сейчас вы отправитесь в Бар-сюр-Об, где капеллан графа де Бара, который нам близок, даст вам какое-нибудь место, ну, скажем, причетника, дабы отныне вы могли жить не скрываясь. Затем вы поедете в Авиньон, откуда мне сообщают, что кардинал Дюэз – креатура Климента Пятого – имеет шанс быть избранным на Святой престол, чему мы должны помешать любой ценой. Отыщите кардинала Каэтани: если его нет в Авиньоне, он где-нибудь неподалеку; он племянник несчастного папы Бонифация и тоже готов отомстить за своего дядю.

– Ручаюсь, что он меня примет хорошо, ведь я тоже помог мщению, отправив Ногаре на тот свет. Уж не собираетесь ли вы создать особую лигу племянников?

– Совершенно верно, Эврар, совершенно верно. Итак, повидайте Каэтани и скажите ему, что наши братья в Испании и Англии, а также во Франции, от имени которых я говорю, в сердцах своих давно уже избрали его папой и готовы поддерживать его не только молитвами, но и всеми доступными им средствами. Предоставьте себя в его распоряжение, если вы окажетесь ему нужны. Затем повидайте также брата Жана дю Пре, который проживает там же и может оказать нам серьезную поддержку. И обязательно постарайтесь разузнать по дороге, нет ли в окрестностях наших бывших братьев. Попытайтесь объединить их в небольшие группы, заставьте повторить известные вам клятвы. Идите, брат мой. Этот пропуск, по которому вы считаетесь капелланом при моей армии, поможет вам выбраться из лагеря, и ни одна живая душа не задаст вам ни единого вопроса.

Он протянул бумагу бывшему тамплиеру, и тот засунул ее за вырез медной кольчуги, доходившей до бедер и надетой поверх монашеского одеяния из грубой ткани, затем оба собеседника облобызались на прощание. Эврар надел шапку и вышел из палатки, ежась под проливным дождем и волоча изуродованную ногу.

Войска графа Пуатье были единственным счастливым исключением – у них хватало пищи. Как только повозки засели в грязи, граф Филипп приказал

распределить припасы и отрядил на это дело пеших ратников. Те поначалу ворчали, а теперь благословляли своего военачальника. Стража неукоснительно поддерживала дисциплину, ибо граф Пуатье ненавидел беспорядок; но так как одновременно он любил и комфорт, сотня слуг была послана вперед вырыть канавы, по которым стекала вода, а уже затем на настиле из бревен и хвороста поставили графский шатер, где можно было жить, не боясь сырости. Шатер этот, почти такой же роскошный и просторный, как у короля, состоял из нескольких помещений, отделенных друг от друга коврами.

Сидя среди своих военачальников на специальном дорожном сиденье, разложив поблизости от себя меч, щит и шлем, Филипп Пуатье беседовал с одним из своих оруженосцев, исполнявшим секретарские обязанности.

– Адам Эрон, прочли ли вы по моей просьбе книгу этого флорентийца... как бишь его зовут? – спросил он.

– Мессир Данте Алигьери...

– Именно так... Тот, что так бесцеремонно поносит наше семейство. Говорят, ему особенно покровительствовал Карл Мартелл Венгерский, батюшка принцессы Клеменции, которая скоро прибудет к нам в качестве королевы. Хотелось бы мне знать, о чем говорится в поэме.

– Я ее прочел, ваше высочество, всю прочел, – ответил Адам Эрон. – В начале своей комедии этот мессир Данте изображает, как он на тридцать пятом году жизни заплутал в глухом лесу и дорогу ему преградили страшные животные, из чего мессир Данте заключил, что, заплутавши, ушел из мира живых людей...

Бароны, окружавшие графа Пуатье, сначала только дивились. Брат короля вечно что-нибудь да придумает. Ну вот хоть сейчас! Здесь, в военном лагере, среди общего беспорядка у него вдруг появилась охота – как будто нет забот поважнее! – толковать о стихах, словно сидит он у камелька в своих парижских хоромах. Но граф д'Эвре хорошо знал племянника, а теперь, находясь под его командованием, имел не один случай еще больше оценить Филиппа, поэтому он сразу разгадал его намерение. «Филипп старается отвлечь их от этого пагубного бездействия, – подумал д'Эвре, – он не желает, чтобы они горячились до времени, и уводит их в мечту, если уж не может вести их в бой».

Ибо Ансо де Жуанвиль, Гуайон де Бурсе, Жан де Бомон, Пьер де Гарансьер, Жан де Клермон, устроившись на сундуках, глядели на Адама Эрона горящими от любопытства глазами, слушая, как он своими словами пересказывает Данте. Эти грубые люди, ведущие подчас полуживотное существование, обожали все таинственное и сверхъестественное. Любая легенда зачаровывала их, душа их была открыта для всегочудесного, для сказки. Странную картину являло это сборище закованных в железо людей, со страстным вниманием следивших за мудреными аллегориями итальянского поэта и желавших во что бы то ни стало знать, какова собой была эта Беатриче, любимая столь великой любовью, содрогавшихся при мысли о бедах Франчески да Римини и Паоло Малатесты или вдруг раздражавшихся громким хохотом потому, что Бонифаций VIII в компании еще нескольких пап должен, оказывается, попасть в восьмой круг ада – в ров, отведенный для святокупцев, симонистов.

– Славный способ нашел поэт отомстить своим врагам и облегчить свою душу, – смеясь, воскликнул Филипп Пуатье. – А куда же он поместил мою родню?

– В чистилище, ваше высочество, – ответил Адам Эрон, который по общей просьбе пошел за поэмой, переписанной от руки на толстом пергаменте.

– А ну-ка, прочтите нам, что он о них говорит, а еще лучше переведите, не все тут понимают итальянский язык.

– Не смею, ваше высочество.

– Да ничего, пустяки, не бойтесь... Мне хочется знать, что думают о нас те, кто нас не любит.

– Мессир Данте выдумал, будто бы он встретил тень, которая громко стенала. Он спросил эту тень о причине ее горя и вот какой получил ответ.

И Адам Эрон начал переводить эпизод XX песни.

Я корнем был зловредного растенья, Наведшего на Божью землю мрак, Такой, что в ней неплодье запустенья. Когда бы Гент, Лилль, Брюгге и Дуак Могли, то месть была б уже свершенной; И я молюсь, чтобы случилось так.

– Эге, да это же прямое пророчество и, главное, полностью соответствует тому положению, в котором мы ныне очутились! – воскликнул граф Пуатье. – Этот поэт хорошо знал наши фландрские докуки. Продолжайте.

Я был Гугон, Капетом нареченный, И не один Филипп и Людовик Над Францией владычил, мной рожденный. Родитель мой в Париже был мясник; Когда старинных королей не стало, Последний же из племени владык Облекся в серое, уже сжимала Моя рука бразды державных сил...[12 - Перевод М. Лозинского.]

– А вот это неправда от начала до конца, – прервал чтеца граф Пуатье, вытягивая свои длинные ноги. – Просто глупая легенда, которую пустили в свое время, чтобы нам навредить[13 - ...глупая легенда, которую пустили в свое время, чтобы нам навредить. – Легенду, согласно которой Капетинги происходили от богатого парижского мясника, во Франции распространила «Песнь о деяниях Юга Капета» – памфлет, сочиненный в первые годы XIV в. и быстро забытый почти всеми, кроме Данте и Франсуа Вийона. Данте тоже обвиняет Юга Капета за то, что тот сверг законного наследника и заточил в монастыре. Тут налицо путаница между концом Меровингов и концом Каролингов; на самом деле в монастырь был заточен последний король первой династии Хильперик III. Последним же законным потомком Карла Великого был по смерти Людовика V Ленивого герцог Карл Лотарингский, который хотел оспорить трон у Юга Капета, но герцог Лотарингский кончил свои дни не в монастыре, а в тюрьме, куда его бросил герцог Французский. Когда в XVI в. Франциск I велел читать себе по совету своей сестры «Божественную комедию», то, услышав пассаж, касающийся Капетингов, остановил чтеца с возгласом: «А! Дурной поэт мой род позорит!» – и отказался слушать дальше.]. Гуго Великий происходит от герцогов Франции.

Все время, пока длилось чтение, Филипп не переставал комментировать поэму, то спокойно, то насмешливо отражая злые нападки итальянского поэта, уже прославившегося в своей стране. Данте обвинял Карла Анжуйского, брата Людовика Святого, не только в том, что тот убил законного наследника неаполитанского престола, но также заточил в темницу святого Фому Аквинского.

– Вот и отделал наших кузенов Анжуйских, – вполголоса произнес граф Пуатье.

Но особенно сильно проклинал Данте, с особенной яростью ополчался он на другого Карла, который разорил Флоренцию и пронзил ее чрево, по словам

поэта, «тем самым копьем, которым сразил Иуду».

– Эге, да это же наш дядя Карл Валуа, это его он так расписал! – произнес Филипп. – Вот откуда эта злоба итальянцев. Он нажил нам в Италии добрых друзей! [14 - Он нажил нам в Италии добрых друзей! – На самом деле, войдя 1 ноября 1301 г. во Флоренцию, которую раздирали распри между гвельфами и гибеллинами, Карл де Валуа отдал город мщению приверженцев папы. Потом пошли указы об изгнаниях. Данте, отъявленный гибеллин и подстрекатель к сопротивлению, участвовал предыдущим летом в совете Сеньории, но потом был отправлен с посольством в Рим и удерживался там в заложниках. Он был осужден флорентийским судом 27 января 1302 г. на два года изгнания и 5000 ливров штрафа по ложному обвинению в недобросовестном исполнении своего поручения. 10 марта ему учинили новое судилище, и на сей раз он был приговорен к сожжению живьем. К счастью для него, он тогда отсутствовал и во Флоренции, и в Риме, откуда сумел бежать, но родину ему уже никогда не суждено было увидеть. Нетрудно понять, что он затаил против Карла де Валуа и, в широком смысле, против всех французских государей стойкую злобу.]

Присутствующие переглянулись, не зная, что сказать. Но они заметили, что Филипп Пуатье улыбается, потирая свой лоб узкой, очень белой рукой. Тогда они тоже осмелились рассмеяться. В окружении графа Пуатье недолюбливали его высочество Карла Валуа!

Лагерь графа Робера Артуа представлял совсем иное зрелище, чем лагерь графа Пуатье. Здесь, словно нагло дождю и грязи, царили постоянное оживление и такой беспорядок, какой и нарочно не устроишь.

Граф Артуа сдал сопровождавшим армию торговцам места вокруг своего шатра, заметного издали благодаря алым полотнищам и развевающимся над ним стягам. Кто хотел приобрести себе новую портупею, заменить пряжку на шлеме, найти железные налокотники или починить порвавшуюся кольчугу, все тянулись сюда. У самого входа в шатер мессира Робера шла непрерывная ярмарка, да и непотребных девок он поселил поближе, так что мимолетные утехи зависели от его милости и он при желании оказывал соответствующие услуги своим друзьям.

Зато лучники, арбалетчики, конюхи, оруженосцы и сервы были оттеснены от графской резиденции и ютились кто где мог: или в крестьянских домах,

выдворив предварительно хозяев, или селились в шалашах, именуемых «листвянкой», или просто устраивались под повозками.

В просторном пурпурном шатре говорили не о поэзии. Тут всегда стояла открытая бочка вина, среди страшного шума по кругу ходили кубки, игроки громко стучали костями, с силой швыряя их на крышку пузатого сундука; игра подчас шла не на деньги, а на честное рыцарское слово, и многие уже успели проиграть больше, чем надеялись получить за свое участие в войне.

Отметим примечательный факт. Поскольку Робер командовал только войсками своего графства Бомон-ле-Роже, большая часть рыцарей Артуа принадлежала к войску графини Маго, однако они постоянно торчали у Робера, хотя военные действия вовсе не требовали их присутствия в развеселом шатре.

Прислонясь к высокой жерди, поддерживавшей шатер, граф Робер Артуа мощным своим торсом возвышался над шумным сборищем. Львиная его грива рассыпалась по алому военному кафтану, а сам он, забавляясь, небрежно жонглировал огромной палицей. Однако что-то щемило сердце этого гиганта, и не без умысла старался он оглушить себя вином и шумной беседой.

– Дорого моим родичам обходятся битвы во Фландрии, – доверительно говорил он окружавшим его сеньорам. – Мой отец – граф Филипп, которого многие из вас знали и служили ему верой и правдой...

– Да-да, мы его знали!.. Это был благочестивый человек, храбрец! – хором отвечали бароны Артуа.

– ...мой отец был сражен насмерть в битве под Верне. Мой дед, граф Робер...

– Отважный, добрый сюзерен – вот каков он был!.. Уважал наши славные обычаи!.. Всегда защищал правого...

– ...четыре года спустя его убили как раз под Куртре. А Бог троицу любит. Быть может, завтра, сеньоры, вы зароете меня в землю.

Существует два рода людей суеверных: одни стараются никогда не упоминать о несчастьях, а другие постоянно говорят о них, бросая вызов судьбе, в надежде

отвести беду. Робер Артуа принадлежал ко второму роду.

– Комон, налей мне еще кубок, выпьем за мой последний денек! – крикнул он.

– Не хотим, не будем! Мы сами прикроем вас своими телами! – заорали в ответ бароны. – Кто же, кроме вас, защитит наши права?

Бароны считали Робера Артуа законным сюзереном, и он в их глазах был чуть ли не кумиром благодаря своей силе, своему задору.

– Вы сами видите, дорогие мои сеньоры, как вознаграждается щедро пролитая за государство кровь, – продолжал Робер. – Потому что мой дед умер позже моего отца – да-да, именно поэтому! – король Филипп нашел случай ущемить меня в правах наследства и отдал Артуа моей тетке Маго, которая так мило с вами обращается, а вся ее свора д'Ирсонов, канцлеры, казначеи и прочие, душат вас поборами, отказываются признавать ваши права.

– Если мы завтра пойдем в бой и кто-нибудь из Ирсонов попадет мне под руку, он получит хороший удар, и фламандцы тут будут ни при чем! – выкрикнул один из собутельников с толстыми рыжими бровями по имени сир де Суастр.

Хотя Робер Артуа слегка захмелел, голова у него была ясная. Он с умыслом щедро угощал баронов вином, приглашал к ним девиц, широко тратил деньги. Так он утолял свою злобу и заодно устраивал свои дела.

– Благородные сирсы, благородные мои друзья, первый наш долг – война за короля, чьими верными вассалами являемся мы все и который, ручаюсь вам, удовлетворит все ваши справедливые требования. Но когда война закончится, мой вам совет, мессирсы: не складывайте оружия. Вам представился удачный случай: вы собрали войска, и все ваши люди с вами; возвратясь в Артуа, пройдитесь по всему краю и отовсюду изгоняйте людишек Маго, секите их всенародно на городских площадях. А я окажу вам поддержку в Королевском совете и, если потребуется, вновь начну процесс в суде, который вынес неправильное решение; и я обещаю вернуть вам старые обычаи, как во времена наших отцов.

– Будет по-вашему, мессир Робер, будет по-вашему! – Суастр широко раскинул руки. – Поклянемся же не разлучаться, пока не удовлетворят наши просьбы и

пока любимого нашего сира Робера не вернут нам в графы! – завопил он.

– Клянемся! – подхватили бароны.

Засим последовали крепкие объятия и вновь рекой полилось вино; зажгли факелы, потому что день уже клонился к вечеру. Робер Артуа чувствовал, как по его огромному телу волнами разливается радость. Лига графа Артуа, которую он тайком сколачивал в течение долгих месяцев, наконец-то набиралась сил.

В эту минуту в шатер вошел конюший.

– Ваша светлость Робер, всех военачальников требуют на совет к королю, – произнес он.

Едкий чад факелов смешивался с пронзительными запахами кожи, пота и мокрого железа. Большинство вельмож, сидевших вокруг короля, не мылись и не брились уже целых шесть дней. Никогда еще так долго они не оставались без омовений. Но грязь – вечная спутница войны.

Коннетабль Гоше де Шатийон повторил перед всеми военачальниками свое донесение относительно плачевного состояния армии.

– Сеньоры, вы выслушали коннетабля. Я желаю узнать теперь ваше мнение, – сказал Людовик X.

Натянув на колени кафтан голубого шелка, Карл Валуа заговорил своим обычным приподнятым тоном:

– Я уже высказал вам свое мнение, государь, мой племянник, и повторяю его всем прочим: мы не должны впредь оставаться в этом гиблом месте, где все подвержено порче – и человеческие души, и лошадиная шерсть. Бездействие причиняет нам не меньше вреда, чем дождь...

Он замолк, ибо король повернулся к Матье де Три и шепнул ему что-то – просто приказал принести драже. Людовику постоянно требовалось что-то жевать и грызть.



– Продолжайте, пожалуйста, дядя!

– Необходимо завтра еще до зари перебраться на новое место, – продолжал Валуа, – найдем переправу через реку, бросимся на фламандцев и еще до вечера опрокинем их.

– Но ведь люди остались без еды, а кони – без фуража, – возразил коннетабль.

– Победа наполняет желудки не хуже хлеба. Продержатся день, не бойтесь, а вот если промешкаем, будет уже поздно.

– А я вот что вам скажу, Карл: вас либо изрубят, либо утопят. Я не вижу иного средства, как приказать отвести армию в Турне или Сент-Аман, расположиться лагерем где-нибудь на возвышенном месте, подождать, пока нам доставят говядину и пока схлынут воды.

Нередко случается, что, когда говорят о молнии, небо отвечает громом, а человек, о котором злословят, неожиданно переступает порог. Можно подумать, что события с умыслом подстерегают нас.

В ту самую минуту, когда коннетабль посоветовал ждать, пока схлынут воды, крыша шатра треснула как раз над Карлом Валуа, его вымочило с головы до ног и забрызгало грязью. Робер Артуа, от которого разлило вином, громко расхохотался, сидя в углу шатра, а вслед за ним захохотал и король. Тут уж Карл Валуа зашелся от гнева.

– Сразу видно, Гоше, – закричал он, вставая с места, – что вы получаете по сто ливров в день, когда королевская армия находится в походе, и у вас, конечно, нет никаких оснований желать конца войны!

Задетый за живое, коннетабль возразил:

– Разрешите вам напомнить, что даже сам король не может послать армию на врага без согласия и без приказа коннетабля. Такого приказа я в нашем теперешнем положении не дам. А если будет иначе, король всегда может сменить коннетабля.

Воцарилось мучительное молчание. Вопрос был слишком важен. Решится ли Людовик в угоду Валуа отстранить от должности своего главного военачальника, как он уже сместил Мариньи, Рауля де Преля и всех прочих министров Филиппа Красивого? Результат получился не особенно-то хороший.

– Брат мой, – вдруг произнес Филипп Пуатье своим спокойным голосом, – я полностью присоединяюсь к совету, который дал вам Гоше. Наши войска не смогут идти в бой, прежде чем не отдохнут хоть с неделю.

– Таково и мое мнение, – отозвался граф Людовик д'Эвре.

– В таком случае нам никогда не удастся проучить этих фламандцев! – воскликнул Карл де ла Марш, младший брат короля, который во всех случаях поддерживал своего дядю Валуа.

Присутствующие заговорили все разом. Отступление или поражение – перед таким выбором стоит французская армия, утверждал коннетабль. Валуа возразил, что не видит никаких преимуществ в плане, предложенном коннетаблем, – отойти на пять лье и гнить там так же, как здесь. Граф Шампанский заявил, что его войска собраны только на две недели, посему он намерен уйти немедленно, если не дадут боя, а герцог Эд Бургундский, брат убитой Маргариты, воспользовался подходящим предлогом, дабы показать, что он отнюдь не горит желанием служить своему бывшему зятю.

Король колебался, не зная, на что решиться. Вся эта кампания затевалась в расчете на скорый исход. Благополучие казны, личный его престиж зависели от быстрой победы. А теперь мечты о молниеносной войне рухнули. Встать на сторону разума и бесспорной очевидности, раскинуть лагерь в другом месте, выждать – означало, помимо всего, отложить бракосочетание и коронацию. А что касается плана перебраться через разлившуюся реку и нестись галопом по грязи...

Вот тут-то и поднялся с места Робер Артуа – внушительная масса пурпура и стали – и шагнул на середину шатра.

– Государь мой, кузен, – начал он, – я понимаю вашу озабоченность. У вас не хватает средств поддерживать такую огромную и к тому же бездействующую армию. Кроме того, вас ждет новая супруга, и нам всем тоже не терпится

увидеть наконец королеву, равно как и присутствовать на коронации. Мой совет вам – не упорствовать далее. Не враг заставляет нас повернуть обратно, а дождь, в чем я вижу перст Божий, а перед волей Господней каждый должен склониться, как бы он ни был велик. Кто знает, кузен мой, может быть, Господь Бог пожелал дать вам знамение, что не следует идти в бой прежде, чем вы не будете помазаны на царство? Великолепие этого обряда прославит вас не меньше, чем сражение, данное наудачу. Итак, откажитесь сейчас от мысли наказать этих мерзких фламандцев. И если вы не нагнали на них страху, что ж, вернемся сюда будущей весной, набрав столь же мощную армию.

Это неожиданное решение, исходящее от человека, которого никто не мог заподозрить в отсутствии воинской доблести, получило поддержку у части собравшихся. В эту минуту никто не понял, что Робер преследует свои личные цели и что надежда поднять мятеж в графстве Артуа ближе его сердцу, нежели государственные интересы.

Людовик X был от природы человеком неуравновешенным и слабовольным, из тех, кто, как говорится, любит махать кулаками после драки, особенно если ход событий не совпадает с их желаниями. Поэтому он с радостью ухватился за предложенный ему Робером Артуа выход.

– Вы говорили мудро, мой кузен, – заявил он. – Небеса предостерегли нас. Пусть армия уйдет, коль скоро она не может выстоять. Но клянусь Богом, – добавил он, торжественно повышая голос и надеясь этой клятвой поддержать свой престиж, – клянусь Богом, что ежели я буду жив в будущем году, то завоюю Фландрию и никогда не заключу с ней соглашения прежде, чем она полностью мне не подчинится.

После чего Людовик начал торопить людей сниматься с места, а сам все свои заботы посвятил подготовке к бракосочетанию и миропомазанию.

Графу Пуатье и коннетаблю лишь с огромным трудом удалось заставить его дать необходимые распоряжения, в частности оставить на границе с Фландрией несколько гарнизонов.

Сварливый так спешил уехать, а вместе с ним и кое-кто из военачальников, что на следующее утро за неимением повозок, безнадежно застрявших в грязи, пришлось сжечь шатры, мебель и вооружение. Оставив позади себя огромное

пепелище, измученные люди к вечеру добрались до Турне. Перепуганные жители заперли городские ворота, и никто не стал требовать, чтобы их открыли. Королю пришлось искать ночлега в каком-то монастыре.

На следующий день, 7 августа, король был уже в Суассоне, откуда он отправил несколько ордонансов, положивших конец этой не слишком блистательной военной эпопее. Он поручил своему дяде Валуа заняться приготовлениями к миропомазанию и отрядил в Париж брата своего Филиппа, дабы тот привез меч и корону. Было условлено, что все действующие лица встретятся по пути между Реймсом и Труа и оттуда двинутся навстречу Клеменции Венгерской.

Сколько раз мечтал Людовик о том, как предстанет он перед своей нареченной героиней и рыцарем, теперь же он всячески старался забыть о плачевной экспедиции, которую с тех пор стали именовать не иначе как «грязевой поход».

## Глава VII

### Приворотное зелье

На заре носилки, которые несли мулы и сопровождали двое вооруженных слуг, вступили под высокую арку ворот особняка Артуа по улице Моконсей. Из носилок вышла Беатриса д'Ирсон, племянница канцлера графства Артуа и приближенная графини Маго. Глядя на эту красавицу-брюнетку, никто бы не подумал, что со вчерашнего дня она проделала почти сорок лье. Даже платье ее ничуть не помялось. Лицо с выдающимися скулами было гладко и свежо, точно она только что встала ото сна. Впрочем, она отлично проспала полдороги, убаюканная мерным покачиванием носилок, укутавшись в мягкие покрывала. Беатриса д'Ирсон не боялась – редкое качество для женщин тех времен – путешествовать ночью; она видела в темноте, как кошка, и твердо верила в заступничество дьявола. Стройная, длинноногая, пышногрудая красавица зашагала к дому, и казалось, она ничуть не торопится, даже медлит – так ровно она выступала. Беатриса направилась прямо в опочивальню графини Маго, которая, сидя у столика, вкушала свой первый завтрак.

– Вот, мадам, – сказала Беатриса, протягивая графине крохотный роговой ларец.

– Ну, как чувствует себя моя дочь Жанна?

– Графиня Пуатье чувствует себя прекрасно, мадам. Пребывание в Дурдане отнюдь не мучительно для нее, а своим кротким нравом она расположила к себе всю стражу. Цвет лица у нее по-прежнему нежный, и похудела она лишь чуть-чуть: ее поддерживают надежда и ваши заботы.

– А волосы? – осведомилась графиня.

– За год еще не успели отрасти; пока не длиннее, чем у мужчины, но мне показалось, что они стали даже гуще, чем прежде.

– Значит, она вполне может показаться на людях?

– В чепчике с оборкой – вполне. И потом, она может приколоть фальшивые косы, чтобы скрыть затылок и уши.

– Фальшивые косы снимаются на ночь, – заметила Маго.

Графиня быстро доела гороховую похлебку с салом, поднося ко рту полные ложки, затем, чтобы промочить нёбо, одним залпом проглотила бокал розового вина «Полиньи». Потом она открыла роговой ларчик и молча стала разглядывать наполнявший его сероватый порошок.

– Во сколько мне это стало?

– В шестьдесят ливров.

– Ах, чертовы колдуньи, ну и дерут же они за свою науку!

– Зато и рискуют.

– Шестьдесят ливров... а сколько себе оставила? – вдруг спросила графиня, вперив испытующий взор в лицо своей придворной дамы.

Беатриса не потупила глаз и с прежней насмешливой улыбкой ответила, растягивая слова:

– Да так, пустяки, мадам. Ровно столько, чтобы купить себе алое платье, которое вы мне обещали, да так и не купили.

Графиня Маго невольно засмеялась: уж больно ловко умела к ней подойти Беатриса.

– Ты, должно быть, совсем проголодалась. На-ка, возьми чуточку утиного паштета, – сказала она. И тут же отрезала себе огромный ломоть.

Потом, вспомнив о ларчике, она добавила:

– Я верю в благотворную силу яда, когда нужно избавиться от врага, но, признаюсь, не верю в силу приворотного зелья, когда нужно переманить на свою сторону противника. Это твоя выдумка, а вовсе не моя.

– И однако ж, мадам, следует верить, – ответила Беатриса, заметно оживляясь, ибо все, что касалось черной магии, занимало ее превыше всего на свете. – Зелье это надежное, а приготовлено оно вовсе не на бараньих мозгах, а только на травах, при мне его и изготовили. Я, значит, отправилась в Дурдан, испросив вашего позволения, и добыла немножко крови из правой руки мадам Жанны. Потом я отнесла эту кровь мадам Изабелле де Ферьенн, а та смешала ее с вербеной, с черным пасленом и зонтичной зорей; после заклинаний мадам де Ферьенн положила смесь на совсем новый кирпич и прожгла его на ясеневых дровах, вот тут-то и получился порошок, который я вам привезла. Теперь осталось только насыпать этот порошок в какое-нибудь питье, дать выпить графу Пуатье – и недели не пройдет, как он влюбится в свою супругу в сто раз сильнее прежнего. Вот сами увидите. Приедет он сегодня, как обещал, или нет?

– Жду. Вчера вечером возвратился из похода, и я просила его меня навестить.

– Тогда я подмешаю порошок к гипокрасу, а вы предложите ему выпить. В гипокрасе много пряностей, да и цвет у него темный, так что порошка заметно не будет. Вот что я вам посоветовала бы, мадам: ложитесь-ка снова в постель, сделайте вид, что вы больны, и под этим предлогом сами не пейте. Вам совершенно ни к чему пить это пойло, а то, чего доброго, влюбитесь в

собственную дочь, – смеясь, добавила Беатриса.

– Чудесная мысль – притвориться больной и принять его, не вставая с постели, – одобрила графиня. – Легче будет объясниться напрямик.

Графиня не мешкая улеглась в постель, велела убрать столик с остатками завтрака и приказала кликнуть своего канцлера Тьерри д'Ирсона, а также своего кузена Анри де Сюлли, который жил в ее особняке и к которому она в последнее время воспылала страстью, – с обоими она намеривалась заняться делами графства.

Несколько позже доложили о приходе графа Пуатье. Вслед за тем вошел и сам Филипп в темном, по своему обыкновению, платье. Его длинные, как у цапли, ноги были обуты в мягкие сапожки, а голова под шапочкой с пером слегка клонилась на грудь.

– Ах, зятек! – воскликнула Маго таким голосом, словно перед ней появился сам Спаситель. – Как же я рада вашему приходу. Знаете, чем я сейчас занимаюсь? Вот велела прочесть мне список моих угодий, чтобы выразить свою последнюю волю. Я такую страшную ночь провела, что не дай бог никому, все нутро изболелось от страха, вот-вот помру. И еще я испугалась, что не увижу вас и не открою вам свои заветные мысли, ведь я вас по-матерински люблю, что бы там ни произошло.

Желая оградить себя от греха лжи, которой она немало успела нагромоздить за одну минуту, графиня незаметно дотронулась до ладанки, висевшей на золотой цепочке; с этой реликвией, заключавшей частицу мощей святого Дрюона[15 - ...частицу мощей святого Дрюона... – Святой Дрюон, особо почитаемый в Артуа, Камбрези и Геннегау, родился в 1118 г. в Эпинуа, который относился тогда к диоцезу Турне, прежде чем перейти в состав Аррасской епархии. Св. Дрюон появился на свет благодаря кесаревому сечению, с помощью которого его извлекли из тела его уже умершей матери. Проявив с юных лет большую набожность, он подвергался жестоким нападкам других детей, которые обзывали его убийцей собственной матери. Считая себя виновным, он испробовал все способы искупления, чтобы очистить себя от этого невольного преступления. В семнадцать лет отказался от уготованной ему жизни сеньора, раздал значительное имущество, которое унаследовал, и нанялся пастухом к одной вдове по имени Элизабет Леэр, проживавшей в деревне Себур, в графстве Геннегау, в тринадцати километрах от Валансьена. Он так сильно любил

животных и так хорошо о них заботился, что жители деревни просили его пасти и их овец вместе с овцами вдовы Леэр. Тогда-то ангелы и начали охранять его стадо, пока он ходил к мессе...Потом он совершил паломничество в Рим, вошел во вкус и повторил это девять раз подряд. Но должен был отказаться от путешествий, страдая от «разрыва кишок», недуга, который он терпел, похоже, в течение сорока лет, отказываясь от перевязок. Несмотря на довольно дурной запах, его добродетели привлекли к нему немало кающихся грешников со всей округи. Он попросил, чтобы ему построили напротив Себурской церкви лачугу, откуда он мог видеть дарохранильницу, и дал обет не покидать ее до конца своей жизни. Он оставался верен своему обету, даже когда церковь загорелась и его хижина тоже; тогда-то и увидели, что он святой, потому что огонь его пощадил. Он умер 16 апреля 1189 г. Из многих окрестных мест сбежался народ, чтобы в слезах лобызать ему ноги и унести несколько кусочков его убогого рублища. Родичи Дрюона, сеньоры д'Эпинау, хотели перенести тело в его родную деревню, но дроги, на которые положили останки, застряли на выезде из Себура, и все лошади, которых привели на подмогу, не смогли сдвинуть их ни на шаг. Так что пришлось оставить тело святого там, где он упокоился. Его известность сильно возросла из-за чудесного исцеления графа Геннегау и Голландского, который, ужасно страдая от камней в мочевом пузыре, совершил паломничество в Себур. Едва он преклонил колена перед могилой святого Дрюона, чтобы помолиться, как изверг из себя «три камня величиной с орех». Праздник святого все еще традиционно отмечается в Духов день, в приходской церкви и у источника Св. Дрюона в Карвен-Эпинау.], она не расставалась ни на минуту.

Анри де Сюлли отвернулся, боясь расхохотаться, ибо почти всю ночь провел у своей кузины Маго и знал, что если ночью она и не спала, то уж никак не от страхов; графиня Маго не была создана для вдовства – только и всего; у нее, этой обжоры, был отменный аппетит как за столом, так и в постели.

Впрочем, от графини Маго, удобно раскинувшейся на парчовых подушках, с округлыми и румяными щеками, широкими плечами, пухлыми руками, веяло несокрушимым здоровьем. Пожалуй, единственное, в чем она нуждалась, – это чтобы ей пустили одну-две пинты крови.

«Сейчас она начнет разыгрывать комедию, – подумал Филипп Пуатье. – И внешне, и внутренне точная копия Робера Артуа. Можно подумать, что они брат и сестра, а не тетка и племянник. Не сомневаюсь, она будет мне говорить о Робере».



Филипп не ошибся. Графиня Маго с первых слов начала поносить подлого своего племянника, упомянула про уловки Робера, его интриги и интриги лиги баронов Артуа, которых он подстрекал против нее, законной их госпожи. Для Маго, так же как и для Робера, весь мир вертелся вокруг графства Артуа, которое они оспаривали друг у друга в течение тринадцати лет; все их мысли, поступки, дружеские связи, союзы, даже любовные приключения имели к этой борьбе то или иное отношение. Если один примыкал к одному клану, то лишь потому, что другой принадлежал к противоположному. Робер готов был поддержать любой королевский ордонанс, если тот был негоден его тетке. Мадам Маго заранее насторожилась против Клеменции Венгерской только потому, что Робер помогал Карлу Валуа в устройстве этого брака. Подобная ненависть исключала возможность любого соглашения, любой сделки, давно переросла первоначальные свои мотивы, и можно было подумать, что эта великанша и этот великан питают друг к другу какую-то страсть наизнанку, сами о ней не подозревая, и что утолить ее легче было бы в кровосмесительной связи, нежели в непрерывных стычках.

– Все подлости, которые он творит, приближают мой смертный час, – жаловалась Маго. – Мне известно, что мои вассалы по наущению Робера принесли против меня клятву. Вот поэтому-то я просто сама не своя, совсем занемогла.

Теперь ей и в самом деле казалось, что она провела ужасную ночь.

– Они поклялись извести и меня также, ваше высочество, – добавил Тьерри д'Ирсон.

Филипп Пуатье повернулся к канонику-канцлеру и заметил, что вовсе не Маго, а тот по-настоящему болен, болен от страха.

– Я собиралась ехать в армию, чтобы навести порядок в своих войсках, – продолжала Маго. – Видите, даже военное платье велела приготовить.

Она указала на внушительных размеров манекен, стоявший в углу комнаты, на который было надето длинное платье, вернее, стальная кольчуга и шелковый плащ, расшитый гербами Артуа; рядом с манекеном лежали шлем и железные перчатки.

– Но тут я узнала об окончании этого достославного похода. Недешево обошелся он королевству, а уж чести, во всяком случае, нам не прибавил. Ах! Похоже, что ваш несчастный брат никогда не сумеет покрыть себя славой, каждое его начинание идет прахом. Говорю вам сущую правду, ибо таково мое мнение: вы были бы куда более подходящим для роли короля, нежели он, и для всех нас весьма огорчительно, что вы, зятек, родились вторым. Ваш отец, царство ему небесное, не раз печалился по этому поводу.

После процесса в Понтуазе граф Пуатье встречался со своей тещей только во время приемов и официальных церемоний, например на похоронах Филиппа Красивого или на заседании Совета пэров, но ни разу они не виделись в частной обстановке. Скандал, в который были замешаны дочери графини Маго, в значительной мере отразился и на ней самой. Филипп Пуатье в течение всего этого времени обращался с тещей более чем холодно. Если сейчас графиня Маго пыталась восстановить прежние отношения, то, пожалуй, она переборщила, не зная меры в лестии. Она предложила зятю присесть возле постели. Д'Ирсон и Сюлли направились было к дверям.

– Нет-нет, добрые мои друзья, вы здесь совсем не лишние; вы же отлично знаете, что у меня от вас нет тайн, – заявила она. Но незаметно махнула им рукой, приказывая выйти прочь. Ибо в эту эпоху знатные вельможи, высокопоставленные лица редко принимали визитеров с глазу на глаз. В их опочивальне, в их покоях вечно толпились родственники, домашние, вассалы, приближенные. Беседы происходили поэтому, так сказать, на виду у всех; отсюда и возникала необходимость прибегать к намекам, недомолвкам и предполагалось полное доверие к своему окружению. Когда главные действующие лица вдруг понижали голос или же отходили к амбразуре окна, любой присутствующий невольно задавался вопросом, не его ли судьба решается сейчас этим полушепотом. Любая встреча при закрытых дверях приобретала оттенок заговора. Именно такой оттенок придавала графиня Маго беседе с зятем, желая по возможности скомпрометировать его и тем самым вовлечь в свою игру.

Конец ознакомительного фрагмента.

## Примечания

1

Посмотри, какая она красавица! (ит.)

2

Прощайте, донна Клеменция! Будьте счастливы! (ит.)

3

Да благословит Бог нашу принцессу! (ит.)

4

Не забывайте нас! (ит.)

5

Священник не мог даже справлять «сухой» мессы... – В ту эпоху месса, которую служили на борту кораблей, у подножия грот-мачты, была особой, так

называемой «сухой» мессой, потому что обходилась без освящения даров и причастия. Такая необычная литургическая форма объясняется, возможно, опасением, как бы из-за морской болезни облатка не была извергнута обратно.

6

...пожертвовать пять марок серебра... – Марка была мерой веса, равной 8 унциям, то есть полуфунту или приблизительно 244 граммам.

7

...христианину более подобает готовиться к кончине, нежели надеяться на выздоровление. – Организация и учреждения госпитальеров вдохновлены в основном уставом парижской больницы Отель-Дьё. Больницей руководили один-два провизора, избранные из каноников городского кафедрального собора. Больничный персонал набирался из добровольцев, после строгого испытания провизорами. В парижском Отель-Дьё этот персонал состоял из четырех священников, четырех причетников, тридцати братьев и двадцати пяти сестер. Мужья и жены среди добровольцев не допускались. У братьев была такая же tonsura, как у тамплиеров; сестры стригли волосы как монахини.

Устав, предписанный госпитальерам, был очень суров. Братья и сестры должны были пообещать хранить целомудрие и жить, отказавшись от всякого имущества. Ни один брат не мог общаться с сестрой без позволения мэтра или мэтрессы, назначенных провизорами для руководства персоналом. Сестрам было запрещено мыть братьям голову или ноги; такие услуги оказывались только лежащим больным. На братьев могли быть наложены мэтром телесные наказания, а на сестер – мэтрессой. Ни один брат не мог выйти в город один или со спутником, который не был указан мэтром; это же правило распространялось и на сестер. Персонал больницы не имел права принимать гостей. Братьям и сестрам разрешалось есть только два раза в день, но больных им надлежало кормить так часто, как те в этом нуждались. Каждый брат должен был спать один, одетый в полотняную или шерстяную тунику и кальсоны; сестры тоже.

Если у брата или сестры в час их кончины обнаруживалось какое-либо имущество или предмет, утаенный при жизни от мэтра или мэтрессы, для них не полагалось совершать никаких религиозных обрядов и их хоронили как отлученных от церкви. В больницу был воспрещен вход любому, кто имел при себе собаку или птицу.

Каждого больного, прибывшего в больницу, сначала осматривал «привратный хирург», который записывал его в книгу. Потом ему привязывали на руку бирку с его именем и датой прибытия. Он получал причастие; затем его переносили на постель и лечили «как хозяина дома». Госпиталь должен был всегда располагать многими теплыми халатами и многими парами обуви, тоже теплыми, для «согрева» больных. После выздоровления больные оставались в больнице семь полных дней – из-за опасений рецидива.

Врачи носили, как и хирурги, отличительные одеяния. Лекарства готовили в больничной аптеке по указаниям врача или хирурга.

Больница принимала не только пациентов с кратковременными недомоганиями, но и хронических больных.

Графиня Маго д'Артуа предоставила Аррасской больнице десять кроватей с матрасами, подушками, простынями и одеялами на десять бедных больных. В описи этой больницы упоминаются десять больших деревянных чанов, служивших ваннами, подкладные судна, «чтобы класть их под бедняков в кроватях», многочисленные плоские тазы для бритья и т. д... Та же графиня д'Артуа заложила больницу и в Эдене.

8

...замужем за дофином Вьеннским. – Суверенные сеньоры Вьеннские именовались дофинами из-за дельфина (dauphin), украшавшего их шлемы и герб, откуда и название Дофине, данное области, над которой они осуществляли свою власть и которая включала в себя Грезиводан, Роанне, Шансор, Бриансонне, Амбрюна, Капансе, Вьеннуа, Валантинуа, Диуа, Трикастинуа и княжество Оранж. В начале XIV в. власть там принадлежала третьему дому Вьеннских дофинов, дому ла Тур дю Пен. Только в конце царствования

Филиппа VI Валуа, по договорам 1343 и 1349 гг. Эмбер II уступил Дофине французской короне при условии, что титул дофина будет впредь носить старший сын короля Франции.

9

...двинуть «ост», то есть королевскую армию... – Посредством расширения смысла латинского слова *hostis* (враг, неприятель, противник) произошедшее от него *ost* стало обозначать войско вообще и королевское войско в частности.

10

Две срочные контрибуции в год... – В первые дни июля 1315 г. Людовик X издал два указа о ломбардцах. Первый недвусмысленно заявлял, что «сидельцы», иначе говоря проживающие во Франции итальянские коммерсанты, должны платить один су с ливра на весь их товар и в таком случае они будут избавлены от войсковых, конных и любых других военных поборов. Так что это был исключительный пятипроцентный налог.

Второй указ, от 9 июля, устанавливал общие правила о пребывании и коммерции итальянских купцов. Все операции с золотом и серебром на вес или в разменной монете, все продажи, все покупки и обмены различных товаров подлежали налогообложению – от одного до четырех денье с ливра в зависимости от области и от того, осуществлялась ли торговля на ярмарках или вне оных. Итальянцам разрешалось иметь постоянное жительство только в четырех городах: Париже, Сент-Омере, Ниме и Ла-Рошели. Но не похоже, чтобы это последнее предписание когда-либо неукоснительно выполнялось, поскольку нарушения наверняка были довольно выгодны – либо для городов, либо для казны. За коммерческой деятельностью ломбардцев было поручено наблюдать уполномоченным, которых назначала королевская администрация.

...пытался втайне возродить орден тамплиеров... – Некоторые труды и свидетельства побуждают к заключению, что орден тамплиеров выжил и скрытно, в рассеянии существовал на протяжении многих веков. Называют имена тайных Великих магистров вплоть до XVIII в. Похоже, хоть это и не так очевидно, что в годы, последовавшие непосредственно за уничтожением ордена, тамплиеры пытались вновь подпольно сгруппироваться. Главой этой организации стал племянник Жака де Моле Жан де Лонгви, который поклялся на землях графа Бургундского (то есть Филиппа де Пуатье) отомстить за память своего дяди.

Перевод М. Лозинского.

...глупая легенда, которую пустили в свое время, чтобы нам навредить. – Легенду, согласно которой Капетинги происходили от богатого парижского мясника, во Франции распространила «Песнь о деяниях Юга Капета» – памфлет, сочиненный в первые годы XIV в. и быстро забытый почти всеми, кроме Данте и Франсуа Вийона.

Данте тоже обвиняет Юга Капета за то, что тот сверг законного наследника и заточил в монастыре. Тут налицо путаница между концом Меровингов и концом Каролингов; на самом деле в монастырь был заточен последний король первой династии Хильперик III. Последним же законным потомком Карла Великого был по смерти Людовика V Ленивого герцог Карл Лотарингский, который хотел оспорить трон у Юга Капета, но герцог Лотарингский кончил свои дни не в монастыре, а в тюрьме, куда его бросил герцог Французский.

Когда в XVI в. Франциск I велел читать себе по совету своей сестры «Божественную комедию», то, услышав пассаж, касающийся Капетингов, остановил чтеца с возгласом: «А! Дурной поэт мой род позорит!» – и отказался слушать дальше.

14

Он нажил нам в Италии добрых друзей! – На самом деле, войдя 1 ноября 1301 г. во Флоренцию, которую раздирали распри между гвельфами и гибеллинами, Карл де Валуа отдал город мщению приверженцев папы. Потом пошли указы об изгнаниях. Данте, отъявленный гибеллин и подстрекатель к сопротивлению, участвовал предыдущим летом в совете Сеньории, но потом был отправлен с посольством в Рим и удерживался там в заложниках. Он был осужден флорентийским судом 27 января 1302 г. на два года изгнания и 5000 ливров штрафа по ложному обвинению в недобросовестном исполнении своего поручения. 10 марта ему учинили новое судилище, и на сей раз он был приговорен к сожжению живьем. К счастью для него, он тогда отсутствовал и во Флоренции, и в Риме, откуда сумел бежать, но родину ему уже никогда не суждено было увидеть. Нетрудно понять, что он затаил против Карла де Валуа и, в широком смысле, против всех французских государей стойкую злобу.

15

...частицу мощей святого Дрюона... – Святой Дрюон, особо почитаемый в Артуа, Камбрези и Геннегау, родился в 1118 г. в Эпинуа, который относился тогда к диоцезу Турне, прежде чем перейти в состав Аррасской епархии. Св. Дрюон появился на свет благодаря кесаревому сечению, с помощью которого его извлекли из тела его уже умершей матери. Проявив с юных лет большую набожность, он подвергался жестоким нападкам других детей, которые обзывали его убийцей собственной матери. Считая себя виновным, он испробовал все способы искупления, чтобы очистить себя от этого невольного преступления. В семнадцать лет отказался от уготованной ему жизни сеньора, раздал значительное имущество, которое унаследовал, и нанялся пастухом к одной вдове по имени Элизабет Леэр, проживавшей в деревне Себур, в графстве



Геннегау, в тринадцати километрах от Валансьена. Он так сильно любил животных и так хорошо о них заботился, что жители деревни просили его пасти и их овец вместе с овцами вдовы Леэр. Тогда-то ангелы и начали охранять его стадо, пока он ходил к мессе...

Потом он совершил паломничество в Рим, вошел во вкус и повторил это девять раз подряд. Но должен был отказаться от путешествий, страдая от «разрыва кишок», недуга, который он терпел, похоже, в течение сорока лет, отказываясь от перевязок. Несмотря на довольно дурной запах, его добродетели привлекли к нему немало кающихся грешников со всей округи. Он попросил, чтобы ему построили напротив Себурской церкви лачугу, откуда он мог видеть дарохранильницу, и дал обет не покидать ее до конца своей жизни. Он оставался верен своему обету, даже когда церковь загорелась и его хижина тоже; тогда-то и увидели, что он святой, потому что огонь его пощадил.

Он умер 16 апреля 1189 г. Из многих окрестных мест сбежался народ, чтобы в слезах лобызать ему ноги и унести несколько кусочков его убогого рубища. Родичи Дрюона, сеньоры д'Эпинуа, хотели перенести тело в его родную деревню, но дроги, на которые положили останки, застряли на выезде из Себура, и все лошади, которых привели на подмогу, не смогли сдвинуть их ни на шаг. Так что пришлось оставить тело святого там, где он упокоился.

Его известность сильно возросла из-за чудесного исцеления графа Геннегау и Голландского, который, ужасно страдая от камней в мочевом пузыре, совершил паломничество в Себур. Едва он преклонил колена перед могилой святого Дрюона, чтобы помолиться, как изверг из себя «три камня величиной с орех».

Праздник святого все еще традиционно отмечается в Духов день, в приходской церкви и у источника Св. Дрюона в Карвен-Эпинуа.

----

Купить: <https://tellnovel.com/moris-dryuon/yad-i-korona-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)